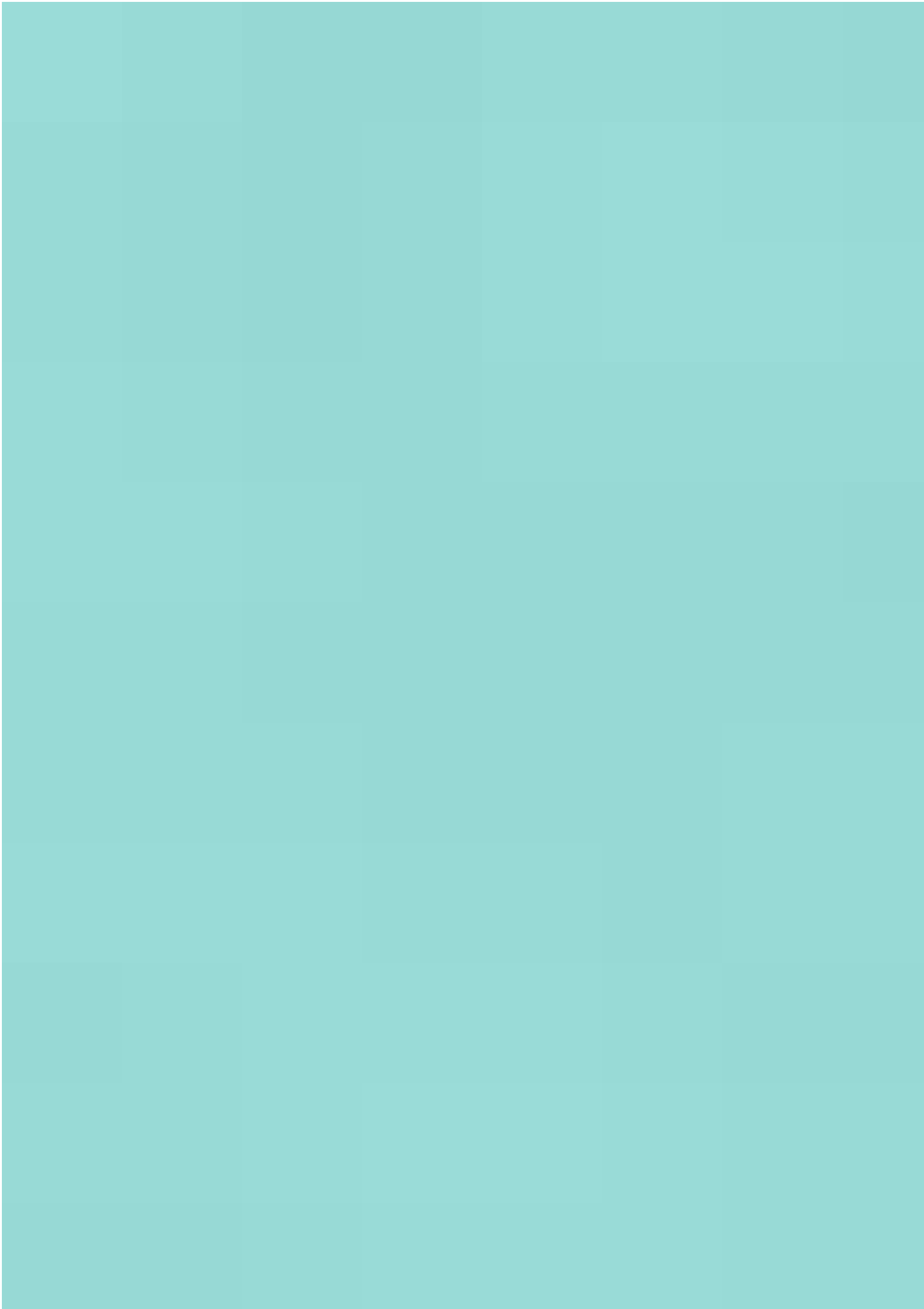




Эдвард Бульвер-Литтон

**Кола ди Риенцо,
последний римский трибун**

«Public Domain»

1835

Бульвер-Литтон Э. Д.

Кола ди Риенцо, последний римский трибун /
Э. Д. Бульвер-Литтон — «Public Domain», 1835

Действие романа происходит в Италии XIV века. Кола ди Риенцо, заботясь об укреплении Рима и о благе народа, становится трибуном. И этим создает повод для множества интриг против себя, против тех, кого он любит и кто любит его... Переплетаясь, судьбы героев этой книги поражают прежде всего своей необычностью.

Содержание

Книга I	5
I	5
II	12
III	15
IV	20
V	28
VI	34
VII	37
VIII	39
IX	42
X	45
XI	48
XII	53
Книга II	57
I	57
Конец ознакомительного фрагмента.	61

Эдвард Бульвер-Литтон

Кола ди Риенцо, последний римский трибун

Книга I

Время, место и люди

I

Братья

Начало моей истории относится к первой половине XIV века.

В один летний вечер двое молодых людей прогуливались близ берегов Тибра, недалеко от той части его извилистого течения, которая огибает подошву горы Авентина. Выбранная ими тропинка была уединенна и спокойна. Вдали виднелись разбросанные по берегу реки бедные домики; над ними местами с мрачным видом подымались огромные башни и высокая кровля жилища какого-нибудь римского вельможи. С одной стороны реки, за хижинами рыбаков, видна была гора Яникулум, темная от массивных деревьев, из-за которых в частых промежутках пока мнились серые стены замков, шпицы и колонны множества церквей. С другой стороны круто и обрывисто подымалась гора Авентин, покрытая густым кустарником; а на высоте из незримых, но многочисленных монастырей, над спокойным ландшафтом и струистыми волнами, довольно музыкально раздавался звук церковного колокола.

Старшему из двух молодых людей можно было дать несколько более двадцати лет. Он был высок и имел в своей осанке что-то повелительное, черты лица его отличались выразительностью и благородством, несмотря на скромный его наряд, состоявший из широкого плаща и простой туники темно-серой саржи. Это была обыкновенная одежда скромных студентов того времени, которые посещали монастыри для приобретения познаний, представлявших скудное вознаграждение за напряженный труд. Лицо его было весьма приятно, и выражение его можно было бы назвать скорее веселым, нежели задумчивым, если бы в глазах его не было той неопределенной и рассеянной томности, которая обыкновенно показывает, что данный человек склонен к меланхолии и самоуглублению, что мечты о прошедшем и будущем более сродни его душе, нежели наслаждение и реальность настоящей минуты.

Младший, еще мальчик, не имел в своей наружности ничего особенного, кроме выражения мягкости и ласки. Было что-то женственное в нежной почтительности, с которой он слушал своего товарища. На нем была одежда, какую обыкновенно носили люди, принадлежавшие к низшим классам, хотя, может быть, поопрятнее и поновее, и любящая гордость матери была заметна в той тщательности, с какой были причесаны и разделены пробором шелковые кудри, выбивавшиеся из-под фуражки и рассыпавшиеся по плечам.

Они шли возле шумящего тростника реки, обняв друг друга за талию; не только в осанке и поступи, но и в молодости и очевидной взаимной любви двух братьев выказывались грация и чувство, которые возвышали незначительность их состояния.

— Милый брат, — сказал старший, — я не в силах выразить, как наслаждаюсь этими вечерними часами. Только с тобой я чувствую, что я не пустой мечтатель и празднотлюб, когда говорю о неизвестном будущем и строю свои воздушные замки. Отец и мать слушают меня с таким видом, как будто я говорю прекрасные вещи, вычитанные из книги; доро-

гая матушка, – да благословит ее Бог! – говорит, утирая слезы, посмотрите, как он учен! Что касается монахов, то, если я осмеливаюсь оторвать глаза от своего Ливия и говорю: таким Рим должен быть опять, – они пялят глаза и разевают рты, и хмурятся, как будто я сказал какую-нибудь ересь. Ты же, милый брат, хотя и не разделяешь моих занятий, но с такой добротой сочувствуешь их результатам, – ты, по-видимому, так одобряешь мои сумасбродные планы и поощряешь мои честолюбивые надежды, – что иногда я забываю наше происхождение и нашу бедность и чувствую в себе такие мысли и смелость, как будто в наших жилах течет кровь какого-нибудь тевтонского императора.

– Мне кажется, милый Кола, – сказал младший брат, – что природа сыграла с нами дурную шутку, тебе она дала царственную душу, перешедшую от отцовской линии, а мне – спокойный и простой дух скромного родства нашей матери.

– Если бы это было так, – возразил Кола, с живостью, – то твоя участь была бы блистательнее: я происходил бы от варваров, а ты – от римлян. Было время, когда простой римлянин считался благороднее какого-нибудь северного короля. Ну, да мы еще увидим большие перемены на своем веку.

– Я буду жить, чтобы увидеть тебя великим человеком; это меня будет радовать, – сказал младший, ласково улыбаясь. – Тебя уже все признают великим ученым. Мать предсказывает тебе счастье всякий раз, когда слышит о твоих посещениях дома Колоннов, где тебя так ласково принимают.

– Колонны? – сказал Кола с горькой улыбкой. – Колонны – педанты! Тупые головы – они притворяются знающими древность, играют роль меценатов и без толку приводят латинские цитаты, сидя за своими кубиками! Им приятно видеть меня у себя, потому что римские доктора называют меня ученым, а природа наделила меня причудливым остроумием, которое для них забавнее пошлых острот какого-нибудь наемного шута. Да, они желают продвинуть меня, но как? Дав мне место в общественном управлении, которое постыдным образом наполняет свою кассу, с жестокостью выжимая от наших голодных граждан деньги, добытые ими с тяжким трудом! Нет ничего гаже плебея, которого возвысили патриции не для того, чтобы он руководил своим сословием, а для того, чтобы он служил орудием для их низких интересов. Человек, происходящий из народа, изменяет своему происхождению, если делается куклой для лицемерных тиранов, которые указывают на него и кричат: посмотрите, какая свобода царствует в Риме, – мы, патриции, так возвысили плебея! Разве они возвысили бы кого-нибудь из плебеев, если бы имели к ним сочувствие? Нет, если я подымусь выше своего состояния, то этим буду обязан рукам, а не шеям своих сограждан!

– Все мои надежды, Кола, состоят в том, что ты, в своем усердии к согражданам, не забудешь, как ты дорог нам. Никакое величие не примирит меня с мыслью, что оно подвело тебя опасности.

– А я смеюсь над всеми опасностями, если только они ведут к величию. Но – величие, величие! Это пустая мечта! Предоставим ее ночным грезам. Довольно о моих планах; поговорим теперь о твоих, милый брат.

И, со свойственной ему сангвинической и веселой гибкостью, молодой Кола, оставив все свои мечтательные помыслы, приготовился выслушать с участием скромные мечты своего брата. Это были – новая лодка, праздничная одежда, хижина в месте, наиболее удаленном от притеснений вельмож, и тому подобные картины, свойственные неопределенным стремлениям мальчика с темными глазами и веселыми губками. Кола с приветливым лицом и нежной улыбкой выслушивал эти незатейливые надежды и желания и часто впоследствии вспоминал об этом разговоре, когда он с тоской спрашивал свое сердце, какой из этих двух родов честолюбия благоразумнее.

– Таким образом, – продолжал младший брат, – мало-помалу я могу собрать довольно денег, чтобы купить судно, подобное вот этому, которое, без сомнения, нагружено хлебом

и товарами; мое судно будет приносить такой хороший доход, что я буду в состоянии наполнить твою комнату книгами и не услышу более твоих жалоб на то, что ты недоволен богатством для покупки какого-нибудь старого истертого монашеского манускрипта. Ах, как я тогда буду счастлив!

Кола улыбнулся и сжал брата в своих объятиях.

– Дорогой мальчик, – сказал он, – пусть лучше моим делом будет заботиться об исполнении твоих желаний. Но мне кажется, что хозяева этого судна владеют незавидной собственностью. Взгляни, как беспокойно эти люди смотрят и вперед, и назад, и по сторонам. Хотя это мирные торговцы, но, кажется, даже и в городе, который был некогда рынком всего цивилизованного мира, они боятся преследований какого-нибудь пирата. До окончания своего путешествия они могут найти этого пирата в каком-нибудь из римских патрициев. Увы, до чего мы дожили?

Судно, о котором говорили два брата, быстро несло вниз по реке, и в самом деле два или три человека на палубе с напряженным вниманием осматривали оба берега, как бы предчувствуя врага. Однако же скоро оно ушло из виду, и братья возобновили свой разговор о предметах, которые имели для молодых людей привлекательность уже потому, что принадлежали к области будущего.

Вечерняя тьма становилась гуще, и они вспомнили, что прошел уже тот час, когда они обыкновенно возвращались домой. Они повернули назад.

– Постой, – сказал вдруг Кола, – как я разговаривал! Отец Уберт обещал мне редкую рукопись, которая, как он признается, поставила в тупик весь монастырь. Я должен буду сходить сегодня вечером к нему. Побудь здесь несколько минут, я скоро ворочусь.

– А мне нельзя идти с тобой?

– Нет, – сказал Кола с рассудительной лаской, – ты работал целый день и верно устал; моя же работа, по крайней мере телесная, была довольно легка, притом ты слаб, у тебя утомленный вид; отдых подкрепит тебя. Я не замешкаюсь.

Мальчик согласился, хотя ему хотелось идти с братом. Он имел характер мягкий и уступчивый и редко противился малейшим приказаниям тех, кого любил. Он сел на берегу реки, и скоро твердая поступь и величавая фигура его брата скрылись от его глаз за густой и меланхолической листвой.

Сначала он сидел очень спокойно, наслаждаясь холодным воздухом и думая о преданиях древнего Рима, которые рассказывал ему брат во время их прогулки. Наконец, он вспомнил, что его маленькая сестра, Ирена, просила принести ей цветов. Нарвав их, он сел и начал плести один из тех венков, к которым южные крестьяне до сих пор сохраняют свою древнюю любовь, делая их с каким-то классическим искусством.

Между тем как мальчик занимался этой работой, вдали послышались громкие крики людей и лошадиный топот. Они раздавались все ближе и ближе.

– Вероятно, это поезд какого-нибудь барона, – подумал мальчик, – славный вид – их белые перья и красные мантии. Я люблю такие зрелища, а все-таки отойду в сторону.

Продолжая плести венок и в то же время глядя туда, где должен был показаться поезд, молодой человек еще ближе подошел к реке.

Поезд был уже в виду, – в самом деле прекрасное зрелище. Впереди ехали всадники по два в ряд там, где позволяла дорога; их лошади были покрыты великолепными чепраками, их перья красиво волновались, латы и кольчуги сияли в вечернем сумраке. Это была большая и разнообразная толпа; все были вооружены; пикинеры в кольчугах ехали впереди, другие, не столь хорошо и красиво вооруженные, следовали пешком за всадниками. Над отрядом развевалось красное, как кровь, знамя дома Орсини, с надписью и девизом из полированного золота и с гвельфским изображением ключей св. Петра. На минуту страх овладел душой мальчика, потому что в те времена, в Риме, патриций, окруженный своими вооруженными

приверженцами, наводил на плебеев более страха, нежели дикий зверь. Но бежать было слишком поздно: толпа уже приблизилась.

– Эй, мальчик! – вскричал предводитель всадников, Мартино ди Порто, принадлежавший к знатному дому Орсини. – Видел ты судно на реке? Ты должен был его видеть – как давно?

– Я видел большое судно, полчаса тому назад, – отвечал мальчик, испуганный грубым голосом и повелительным видом всадника.

– Оно шло прямо, с зеленым флагом на корме?

– Да, благородный синьор.

– Ну, так вперед! Мы остановим его до восхода луны, – сказал барон. – Теперь пусть мальчик отправляется с нами, чтобы он нас не выдал и не уведомил Колоннов.

– Орсини! Орсини! – вскричала толпа. – Вперед, вперед! – И несмотря на мольбы и уверения мальчика, он был помещен в самую средину толпы и увлечен вместе с другими. Он был испуган, он задыхался и чуть не плакал; на одной руке его все еще висел маленький венок, на другую была наброшена веревка. Однако же, несмотря на свое беспокойство, он чувствовал какое-то детское любопытство, желая увидеть результат этого преследования.

Из громкого и жаркого разговора окружающих его людей он узнал, что судно, которое он видел, везло запасы хлеба в крепость, находившуюся возле реки и принадлежавшую дому Колоннов, который был тогда в смертельной вражде с домом Орсини. Целью экспедиции, в которую попал бедный мальчик, было перехватить провизию и отдать ее гарнизону Мартино ди Порто. Эти сведения увеличили смущение мальчика, потому что он принадлежал к семейству, состоявшему под покровительством Колоннов.

Беспокойно и со слезами на глазах он оглядывался каждую минуту, взбираясь по крутому подъему Авентина; но его хранитель и покровитель еще не показывался.

Таким образом, толпа несколько времени подвигалась вперед, как вдруг, при повороте дороги, глазам ее внезапно представился предмет ее преследования. При свете первых вечерних звезд, судно быстро несло вниз по течению.

– Ну, теперь – благодарение святым! – вскричал предводитель, – оно наше!

– Постойте, – сказал полупшепотом один из начальников (немец), ехавший рядом с Мартино, – я слышу звуки, которые мне не нравятся: за деревьями ржет лошадь, и вон – латы блестят!

– Вперед, господа, – вскричал Мартино, – цапля не обманет орла – вперед!

С новыми криками пешие двинулись вперед. Когда они приблизились к кустарнику, на который указывал немец, небольшой сомкнутый отряд всадников, вооруженных с головы до ног, выехал из-за деревьев и с копьями наперевес бросился на ряды преследователей.

– Колонна! Колонна!

– Орсини! Орсини!

Таковы были крики, которые громко и дико мешались один с другим. Мартино ди Порто, отличавшийся свирепостью и огромным ростом, и его всадники – по большей части немецкие наемники, не пошатнувшись, выдержали атаку.

– Берегись медвежьих лап, – вскричал Орсини подъезжавшему к нему противнику.

Борьба была непродолжительна и жестока. Латы всадников защищали их со всех сторон от ран; не так невредимы были плохо вооруженные пешие орсинисты, когда они, подталкиваемые друг другом, надвигались на Колоннов. Вытерпев дождь камней и стрел, которые делали толстым кольчугам всадников не более вреда, чем град, они столпились вокруг и своей многочисленностью мешали движению коней, между тем как пики, мечи и секиры их противников делали беспощадное опустошение в их недисциплинированных рядах. Мартино, мало обращавший внимание на то, как много изрублено «сволочи» в его рядах, и видя, что его неприятели на минуту задержаны яростным нападением и сомкнувшейся толпой его

пехотинцев (место схватки было узко и тесно), – дал некоторым из своих всадников знак и хотел продолжать путь для преследования судна, которое теперь почти совсем скрылось из виду. Но вдруг, в некотором расстоянии, послушался звук рога; на этот сигнал ответил один из неприятелей, и затем вдали раздался крик: «Колонна, на выручку!» Через несколько минут показался многочисленный конный отряд, который несся во весь карьер; впереди него великолепно развевались знамена Колоннов.

– Черт возьми этих колдунов! Кто бы подумал, что они так хитро отгадают наши намерения! – проворчал Мартино. – Нам не следует оставаться здесь при таком неравенстве сил. – И рука его, вместо того, чтобы указать вперед, дала теперь знак к отступлению.

Плотно сомкнувшись и в совершенном порядке, всадники Мартино ди Порто повернули назад; пешая «сволочь», которая шла на добычу, осталась на жертву. Эти люди старались последовать примеру своих вождей, но как могли они уйти от стремительного напора лошадей и от острых пик своих противников? Кровь этих последних была разгорячена схваткой, а на жизнь своих жертв, находившуюся теперь в их власти, они смотрели так же, как мальчик смотрит на разоренное им гнездо ос. Толпа рассеялась по разным направлениям: некоторым удалось уйти на холмы, куда лошади не могли взобраться, другие бросились в реку и переплыли на противоположный берег; менее хладнокровные и опытные бежали прямо вперед, и загораживая собой дорогу неприятелям, облегчали тем бегство своим вождям, но зато сами падали трупам друг на друга, под сокрушительными ударами неустомимых и ничем не удерживаемых преследователей.

– Не щадить негодяев! Со смертью каждого из Орсини делается одним разбойником меньше. Рубите, во славу Бога, императора и Колонны! – Таковы были крики, служившие похоронным колоколом уstraшенным и падающим беглецам между бежавшими прямо по дороге; в месте, наиболее доступном для конницы, находился и младший брат Колы, так неожиданно вовлеченный в схватку. Быстро, обезумев от ужаса, бежал бедный мальчик, почти никогда не отлучавшийся от родителей или от брата. Деревья мелькали мимо, берега оставались все дальше и дальше за ним, и он бежал, а по пятам его несся лошадиный топот, раздавались крики и проклятия, и зверский хохот врагов, когда они перескакивали через убитых и умиравших на тропинке. Теперь он был на том самом месте, где его оставил брат. Он быстро оглянулся, и глаза его встретили наклоненное копье и страшный шишак всадника, бывшего близко за ним; в отчаянии он взглянул вверх и увидел своего брата, который выскочил из частого перепутанного кустарника, покрывавшего гору, и летел к нему на помощь.

– Спаси меня, спаси меня, брат! – громко закричал он. Этот крик достиг слуха Колы; мальчик чувствовал уже жаркое дыхание горячего коня своего преследователя; еще минута – и с громким, пронзительным криком: – Пощадите, пощадите! – он упал трупом: копье всадника пробило его насквозь и пригвоздило к тому самому дерну, на котором он сидел менее часа тому назад, исполненный молодой жизни и беззаботной надежды.

Всадник вырвал копье и помчался за новыми жертвами; другие последовали за ним. Кола сошел с горы и стал на колени возле убитого брата.

Возвратимся теперь к тому моменту, когда раздался звук рога и трубы. Отряд, из которого он слышался, был благороднее того, который составлял авангард и до сих пор участвовал в битве. Во главе его ехал человек преклонных лет. Седые волосы его выглядывали из-под шапки, украшенной перьями, и смешивались с его почтенной бородой.

– Что это значит? – спросил он, останавливая своего коня. – Молодой Риенцо!

При звуке этого голоса молодой человек поднял глаза, потом, вскочив, стал перед конем старого патриция и, сложив руки, проговорил едва внятно:

– Это мой брат, благородный Стефан! Еще мальчик, совсем ребенок! Лучшее, добрейшее дитя! Смотрите, как трава обогрена его кровью! Назад, назад, копыта вашей лошади стоят в кровавом потоке! Правосудия, синьор, правосудия, вы большой человек!

– Кто убил его? Без сомнения, какой-нибудь Орсини. Вам будет оказано правосудие.

– Благодарю, благодарю, – прошептал Риенцо и, шатаясь, пошел к брату, повернул его лицо из травы наружу, приложил руку к его груди, в тщетной надежде почувствовать биение его сердца, но тотчас же отнял ее, потому что она покрылась кровью. И подняв эту руку вверх, он опять вскричал: – Правосудия! Правосудия!

Несмотря на свою привычку к подобным сценам, группа людей, собравшихся вокруг Стефана Колонны, была растрогана этим зрелищем. Находившийся возле него прекрасный мальчик, по щекам которого текли слезы, обнажил меч.

– Синьор, – сказал он, едва удерживаясь от рыдания, – только орсинист мог умертвить такого невинного мальчика; не будем терять ни минуты; поедem в погоню за злодеями.

– Нет, Адриан, нет, – возразил Стефан, положив руку на плечо мальчика, – твое усердие похвально, но мы должны остерегаться засады. Наши люди заехали слишком далеко. Но вот – слышишь – они возвращаются.

Через несколько минут звук рога отозвал преследователей назад; в числе их был и тот всадник, копьe которого сделало такую роковую ошибку. Он начальствовал отрядом, завязавшим битву с Мартино ди Порто; его латы, украшенные золотом, и богатая сбруя его лошади показывали его высокое происхождение.

– Благодарю, сын мой, благодарю, – сказал старый Колонна, – ты действовал хорошо и храбро. Но скажи, не знаешь ли, – у тебя орлиное зрение, – кто из Орсини убил этого несчастного мальчика? Гнусное дело! Притом его семейство – наши клиенты.

– Кого? Этого мальчика? – сказал всадник, снимая с головы свой шлем и утирая свой вспотевший лоб. – Что вы говорите! Как же он попал в толпу негодяев Мартино ди Порто? Боюсь, что моя ошибка обошлась ему дорого. Мне не могло прийти в голову, что он не принадлежит к сволочи Орсини, и – и...

– Вы убили его! – вскричал Риенцо громовым голосом, быстро вскочив на ноги. – Правосудия, синьор Стефан, правосудия! Вы мне обещали правосудие, и сдержите слово.

– Бедный молодой человек, – сказал Стефан с состраданием, – вам было бы оказано правосудие против Орсини; но разве вы не видите, что это случилось по ошибке? Я не удивляюсь тому, что вы теперь слишком огорчены и не можете слушать доводов расcудка. Мы должны быть к вам снисходительны.

– Возьмите это на обедни по душе мальчика; меня очень печалит этот случай, – сказал младший Колонна, бросая Риенцо кошелек с золотом. – Приходите на той неделе к нам в палаццо, Кола, на той неделе. Батюшка, мы должны опять вернуться к судну; нам еще надо позаботиться о его безопасности.

– Правда, Джанни, – отвечал старик. – Двое из вас, – прибавил он, обращаясь к солдатам, – пусть останутся здесь у тела мальчика; горестный случай! Как могло это произойти?

И компания возвратилась туда, откуда приехала; у трупа остались только двое солдат, да мальчик Адриан. Последний остался на несколько минут, чтобы утешить Риенцо, который, подобно человеку, лишившемуся чувств, был неподвижен, смотря на мчавшийся мимо него строй всадников и бормоча про себя:

– Правосудия! Правосудия! Я добьюсь его!

Громкий голос Колонны-старшего звал Адриана, и он неохотно и со слезами на глазах должен был ехать.

– Позвольте мне быть вашим братом, – сказал благородный мальчик, с чувством прижимая руку Риенцо к своему сердцу, – я имею нужду в брате, подобном вам.

Риенцо не отвечал; он не обратил внимания на эти слова, или не слышал их; в его сердце волновались мрачные и смутные мысли, в которых таился зародыш могущественной революции. Он, вздрогнув, очнулся от своих дум, когда солдаты начали устраивать из своих щитов нечто вроде катафалка для трупа; из глаз его хлынули слезы, он с силой оттолкнул сол-

дат и сжимал тело брата в своих объятиях до тех пор, пока его платье буквально не вымокло от струившейся крови.

Венок несчастного мальчика, запутавшись в складках одежды, еще был при нем. Вид этого венка напомнил Коле всю нежность, доброту и очаровательную ласковость его брата – его единственного друга. Это было зрелище, которое, казалось, еще увеличивало безжалостную жестокость преждевременной и незаслуженной кончины невинного мальчика.

– Брат мой, брат! – стонал Риенцо. – Как я теперь покажусь на глаза матери? Такой молодой! Кому он мог вредить! Такой добрый! И они не хотят оказать нам правосудия, потому что его убийца – патриций Колонна. А это золото, золото за кровь брата! Неужели они (при этих словах глаза молодого человека засверкали) не окажут нам правосудия? Увидим! – И Риенцо наклонился над трупом; губы его шевелились, как будто шепча молитву или заклинание; потом он встал; лицо его было столь же бледно, как у мертвого, который лежал перед ним, – но бледно уже не от горя!

От трупа, от внутренней молитвы, Кола ди Риенцо воспрянул другим человеком. Вместе с его юным братом умерла и его собственная юность. Без этого события будущий освободитель Рима мог быть только мечтателем, ученым, поэтом, мирным соперником Петрарки, – человеком мысли, а не дела. Но теперь все его способности, энергия, воображение, ум – сосредоточились в этом пункте; патриотизм его, бывший до этих пор призраком, получил жизнь и силу страсти, которая постоянно была воспаляема, упорно поддерживаема и благоговейно освещается местью!

II

Исторический обзор

Прошли годы – и смерть римского мальчика, среди более благородных, но менее извинительных убийств, скоро была забыта; – ее почти забыли даже родители убитого в возрастающей славе и в успехах их старшего сына, – но не забыл и не простил ее этот сын. Здесь, в пространстве времени между описанным нами кровавым прологом и последующей политической драмой, между охлаждающим, так сказать, интересом мечтаний и более тревожными, действительными и продолжительными волнениями жизненных бурь, – к стати представить читателю краткий и беглый очерк состояния и обстоятельств города, в котором происходили главные сцены нашего рассказа. Очерк этот, может быть, необходим многим, для полного понимания мотивов, руководивших действующими лицами, и судебных заговора.

Несмотря на насильственное поселение разнородных и смешанных племен в столице цезарей, римский народ сохранил гордую мысль о своем превосходстве над остальным миром и, утратив железные доблести времен республики, по-прежнему был проникнут тем наглым и непокорным мятежным духом, которым отличались плебеи древнего форума. Среди свирепой, но немужественной черни, нобили вели себя скорее как безжалостные бандиты, нежели как умные правители. Папы напрасно боролись против этих упрямых и суровых патрициев. Над властью их смеялись, на повеления их не обращали внимания, личность их подвергалась открытым оскорблениям, и первосвященники – эти властители остальной Европы, жили в Ватикане, как пленники, под угрозой казни. За тридцать восемь лет до времени описываемых нами событий, один француз взшел на престол св. Петра, под именем Климента V. Он больше с благоразумием, нежели мужеством, оставил Рим для спокойного убежища в Авиньоне, и роскошный город чужеземной провинции сделался резиденцией римского первосвященника и престолом христианской церкви.

Не видя более даже номинальной преграды, представляемой папским присутствием, власть нобилей, можно сказать, не имела границ, кроме собственного произвола и взаимных их распрей и соперничества. Выводя свое происхождение, посредством баснословных генеalogий, от древних римлян, они на самом деле большей частью были потомками смелых северных варваров и более зараженные вероломством итальянцев, нежели проникнутые их национальными чувствами, сохранили презрение своих чужеземных предков к завоеванной стране и к ее павшему народу. Между тем как остальная Италия, особенно Флоренция, Венеция и Милан, быстро и далеко опередила другие государства Европы в цивилизации и искусствах, римляне, казалось, более шли назад, чем подвигались вперед на пути усовершенствования. Не осчастливленные законами, не избалованные искусствами, они были одинаково чужды и рыцарству воинственного, и общительности мирного народа. Но в них еще жило чувство и желание свободы и, посредством жестоких пароксизмов и отчаянной борьбы, они старались отстоять для своего города по-прежнему принимаемый им титул «митрополии всего мира». В течение двух последних столетий они имели много революций, – непродолжительных, часто кровавых, и всегда безуспешных. При всем этом, в Риме существовал еще пустой призрак народной формы правления. Каждая из тринадцати частей города избирала себе вождя; собрание этих должностных лиц, называемых капорионами, по теории, имело власть, для пользования которой у них не было ни силы, ни мужества. Существовало также гордое имя сенатора, но в настоящее время эта должность была предоставлена только одному или двум лицам, иногда избираемым папой, а иногда нобилиями. Власть, соединенная с этим именем, кажется, не имела определенных границ; это была или власть сурового диктатора, или бездушной куклы, смотря по тому, в какой мере лицо, принимающее на себя эту должность, было в состоянии дать вес своему сану. Она предоставлялась только ноби-

лям, которые одни производили всевозможные бесчинства. Общественное правосудие заменялось угождением какой-нибудь из враждующих партий; восстановление порядка состояло единственно в мести.

Имея дворцы, подобные замкам и крепостям государей, не подчиняясь никаким властям и закону, строя укрепления и объявляя притязания на княжества в церковных областях, римские вельможи еще более обезопасили себя и сделали ненавистным свое сословие, содержа войска из иностранных наемников (преимущественно немцев), которые были и храбрее, и дисциплинированнее, и искуснее в военном деле, нежели даже самые свободные из итальянцев того времени. Таким образом, они соединяли в себе судебную и военную власть, — не для защиты, а для гибели Рима.

Самыми могущественными из этих, вельмож были Орсини и Колонны; распри их были наследственны и беспрестанны; каждый день был свидетелем плодов их незаконной войны, ознаменованной кровопролитием, грабительством и пожарами. Лесть или дружба Петрарки, которому слишком слепо веруют новейшие историки, облекла Колоннов, особенно описываемого времени — изяществом и достоинством, которых они не имели. Оскорбления, обман и убийство, скарденная жадность в присвоении прибыльных должностей, наглые притеснения своих же сограждан и малодушнейшее раболепство перед властью, которая превосходила их собственную власть — вот, с небольшими исключениями, характер первой семьи Рима. Будучи богаче других вельмож, Колонны отличались большей роскошью и, может быть, большим умственным развитием; гордости их льстило название покровителей искусств, в которых они не могли отличаться сами. От этих размножившихся угнетателей римские граждане, с нетерпеливым и страстным сожалением, обращали свой взор к смутным и темным воспоминаниям утраченной свободы и величия. Они смешивали времена империи с временами республики, и на тевтонского короля, который был избираем за Альпами, а титул императора получал от римлян, часто смотрели как на беглеца со своего законного поста и собственного дома. Они легкомысленно воображали, что если бы император и первосвященник утвердили свою резиденцию в Риме, то свобода и закон снова водворились бы в их отечестве.

Отсутствие папы и его двора сильно способствовало обеднению граждан. Еще заметнее, они страдали от грабительства разбойничьих шаек, многочисленных и беспощадных, которые тревожили Романью, наполняя собой все проезжие дороги, и состояли иногда под тайным, иногда под открытым покровительством римских баронов, часто набравших из бандитских солдат свои бандитские гарнизоны.

Но, кроме этих мелких и обыкновенных бандитов, в Италии возник еще более ужасный род их, разбойники высшего разряда. Один немец, присвоивший себе гордый титул герцога Вернера, за несколько лет до того периода, к которому мы приближаемся, на вербовал и организовал значительное войско под названием «большая компания». С этим войском он осаждал города и занимал государства, с единственной постыдной целью грабительства. Его пример скоро нашел подражателей: многочисленные «компании», сформированные подобным же образом, начали опустошать разделенную и беспорядочную страну. Ни тиран, ни общество не имели достаточно войска для противодействия им; а вербовка для этой цели других северных наемников служила только усилению рати разбойников дезертирами. Наемник не сражается с наемником, ни немец с немцем, а большая плата и необузданность грабежа делали шатры «компаний» гораздо более привлекательными, чем регулярное жалование города или скучная крепость и истощенная казна какого-нибудь вождя. Вернер был самый неумолимый и свирепый из всех этих авантюристов; он так открыто похвалялся своим зверством, что на груди своей носил серебряную доску, на которой вырезаны были слова: «Вражда против Бога, жалости и пощады». Незадолго перед тем он опустошал Романью огнем и мечом. Но деньги или же невозможность сладить с дикими страстями, кото-

рые он возбудил, заставили его увести большую часть своего войска обратно в Германию. Однако же небольшие отряды еще остались; они были рассеяны по всей стране и ждали только искусного вождя, который бы их соединил опять. Одним из способнейших к этой роли людей был Вальтер де Монреаль, рыцарь ордена св. Иоанна, провансальский дворянин. Несмотря на свою молодость, он, своей храбростью и талантами, приобрел уже страшную знаменитость, а его честолюбие, опытность и проникательность, возвышаемые некоторыми рыцарскими, благородными качествами, делали его способным для предприятий гораздо более важнейших и достойнейших, нежели жестокие грабежи свирепого Вернера. Ни одно государство не страдало от этих бичей более Рима. Наследственные земли папы, частью отторгнутые от него мелкими тиранами, частью опустошенные чужеземными разбойниками, доставляли скудное удовлетворение нуждам Климента VI, образованнейшего дворянина и изящнейшего сластолюбца своего времени. Поэтому он придумал план обогатить в одно время и римлян, и их первосвященника.

Около пятидесяти лет до того времени, о котором нам предстоит говорить, Бонифаций VIII, для наполнения папской казны и заодно для умиротворения римлян, умиравших с голода, учредил празднество юбилея, или святой год, в сущности восстановление языческого церемониала. Полная индульгенция была обещана всем католикам, которые в тот год, или в первый год каждого из последующих столетий, посетят церкви св. Петра и св. Павла. Огромное стечение пилигримов со всех мест христианского мира доказало мудрость этого изобретения, и «два священника стояли ночь и день с граблями в руках и, не считая, огребали кучи золота и серебра, принесенных на алтарь св. Павла»¹.

Неудивительно, что этот в высшей степени прибыльный праздник, еще до истечения половины следующего столетия, показался благоразумному первосвященнику слишком надолго отложенным. И папа, и город сходились в мысли, что не худо бы поскорее возобновить его. Итак, Климент VI объявил, под именем Моисеева юбилея, второй святой год на 1350, т. е. через три года после той даты, с которой начнется мой рассказ в следующей главе. Это обстоятельство имело сильное влияние на возбуждение народного негодования против вельмож и подготовило события, о которых я буду говорить, потому что дороги были наполнены бандитами – креатурами и союзниками баронов. А опасность дорог мешала приходу пилигримов. Раймонду, епископу орвиетскому (хорошему канонисту, но плохому политику), поручено было всеми мерами стараться устранить преграды между набожными пожертвованиями и сокровищницей папского престола.

Таково, в главных чертах, было состояние Рима в тот период времени, о котором мы будем говорить. От глаз Италии и Европы он скрывал еще свои развалины под мантией своей древней славы. По крайней мере, по имени он был владыкой мира, и из его рук глава церкви получал ключи, а северный император – корону. Положение его было именно таково, что представляло обширное и блистательное поприще для смелого честолюбия, вдохновляющее, хотя и плачевное зрелище отчаянного патриотизма – приличную сцену для той величавой трагедии, которая отыскивает свои происшествия, выбирает актеров и выводит мораль среди народных превратностей и преступлений.

¹ Gibbon, vol. XII, c. 59.

III

Ссора

Вечером, апреля 1347 г., в одном из тех обширных пространств, где новый и древний Рим, казалось, смешивались между собой – одинаково печальные и разрушенные, собралась разнородная и негодующая толпа. Утром того дня солдаты Martino di Porto, насильно ворвавшись, разорили дом одного римского ювелира с дерзкой наглостью, превосходившей обыкновенное своеволие вельмож. Мысли и чувства, возбужденные этим событием во всем городе, были глубоки и зловещи.

– Никогда я не покорюсь этой тирании!

– Ни я!

– Ни я!

– Ни я! Клянусь в том костями св. Петра!

– Что такое, друзья мои? Вы не хотите покоряться тирании? – сказал один молодой патриций, обращаясь к толпе раздраженных, гневных и полувооруженных граждан, которые, жестикулируя с итальянским темпераментом, стремительно шли по длинной и узкой улице, к мрачному кварталу, занятому семьей Орсини.

– Ах, синьор! – вскричали вдруг двое или трое из граждан. – Вы оправдаете нас, вы потребуете для нас правосудия, вы Колонна.

– Ха, ха, ха! – презрительно захохотал человек гигантского роста, подымая вверх огромный молот – знак своего ремесла. – Правосудие и Колонна! Боже мой! Эти два имени не всегда ладят между собой.

– Прочь его! Прочь его! Это орсинист, прочь его! – вскричали по крайней мере десять голосов из толпы; но ни одна рука не поднялась на великана.

– Он говорит правду, – сказал другой голос с твердостью.

– Да, – сказал третий, нахмуривая брови и вынимая свой нож, – и мы это терпим! Орсини тираны, а Колонны много-много хуже их.

– Лжешь, негодяй! – вскричал молодой нобиль, входя в толпу и становясь против поносителя Колоннов.

Перед сверкающим взором и угрожающими жестами кавалера крикун отступил на несколько шагов и оставил, таким образом, пустое пространство между огромной фигурой кузнеца и небольшим, тонким, но сильным станом молодого nobility.

С детства приучаясь презирать храбрость плебеев, даже тогда, когда сами не могли похвалиться ею, римские патриции привыкли к подобным ссорам, и нередко одного присутствия какого-нибудь nobility было достаточно для рассеяния целой толпы, которая за минуту перед тем провозглашала мщение против его сословия и фамилии.

Поэтому, подойдя к кузнецу и решительно не обращая внимания на оружие, которым размахивал этот великан, молодой Адриан ди Кастелло, дальний родственник Колонны, махнул рукой, гордо приказывая дать дорогу.

– Домой, друзья! И знайте, – прибавил он с некоторым достоинством, – что вы очень оскорбляете нас, если думаете, что мы участвуем в дурных делах орсинистов или подчиняемся единственно своим страстям в распрях между их домом и нашим. Суди меня, святая мать, – продолжал он, набожно подымая глаза к небу, – если я говорю ложь, утверждая, что я вынул этот меч против Орсини, для защиты Рима и вас от несправедливостей.

– Так говорят все тираны, – сказал кузнец дерзким тоном, прислоняя свой молот к каменному обломку – остатку древнего Рима. – Они никогда не воюют друг с другом, иначе как для нашего блага. Один Колонна перерезывает горло орсиньевскому хлебнику, это для нашего блага, другой Колонна отнимает дочь у орсиньевского портного,

это для нашего блага! Для нашего блага – да, для блага народа! Уж не для пользы ли хлебопек и портных?

– Товарищ, – сказал молодой патриций с важностью, – если какой-нибудь Колонна так поступил, то он виноват; но даже самое святое дело может иметь дурные подпоры.

– Да, сама св. церковь опирается на очень плохие колонны, – отвечал кузнец, намекая с грубым остроумием на любовь папы к дому Колоннов.

– Он богохульствует! Кузнец богохульствует! – кричали сторонники этой могущественной семьи. – Колонна! Колонна!

– Орсини! Орсини! – был не менее быстрый ответный крик.

– Народ! – загремел кузнец, размахивая своим страшным оружием над головами окружающей его группы.

В одно мгновение толпа, соединившаяся перед тем против притеснений одного человека, разделилась наследственной враждой партий. При крике «Орсини!» многие новые участники поспешили сюда: друзья Колонны собрались на одной стороне, защитники Орсини на другой. Немногие, согласные с кузнецом в том, что обе партии одинаково гнусны и что народ есть единственный законный выразитель народного волнения, готовы были отойти в сторону от приближающейся схватки. Но сам кузнец, имевший над ними большое влияние, раздраженный надменным обращением молодого Колонны или же вследствие жажды борьбы, свойственной людям большого роста и силы, которые могут в рукопашном бою наслаждаться своим превосходством, после минутной нерешимости пристал к орсинистам и своим примером доставил приверженцам этой партии содействие своих друзей.

В народных волнениях отдельный человек всегда бывает увлечен толпой, часто против своей воли и согласия. Несколько успокоительных слов, с которыми Адриан ди Кастелло обратился к своим друзьям, потерялось среди всеобщих криков. Гордясь тем, что в их рядах находится один из любимейших и благороднейших людей дома Колонны, сторонники этой фамилии поставили его во главе и стремительно бросились на неприятеля. Однако же, Адриан, заимствовавший кое-какие правила из рыцарского кодекса, которыми, конечно, он не был обязан римскому своему происхождению, сначала не хотел нападать на людей, между которыми не видел никого равного себе ни по званию, ни по умению владеть оружием. Он довольствовался тем, что отразил немногие удары, направленные на него в беспорядочном пылу схватки. Мы говорим: немногие удары, потому что те, кто узнал его, не исключая самых закоренелых сторонников Орсини, не хотели подвергать себя опасности и гневу толпы, проливая кровь человека, который, кроме знатного происхождения и большой силы своих связей, пользовался лично популярностью, которую он заслужил скорее по сравнению его поступков с пороками его родственников, чем по каким-либо особым добродетелям. Один кузнец, который до сих пор не принимал деятельного участия в схватке, решился на определенное сопротивление, когда кавалер приблизился к нему на расстояние нескольких шагов.

– Разве мы не сказали тебе, – проговорил великан, нахмутив брови, – что Колонны – враги народа столько же, как и Орсини? Взгляни на своих приверженцев и клиентов: разве они не режут теперь горла бедным людям за преступление одного вельможи? Но всегда этим способом один патриций наказывает наглость другого. Он опускает розгу на спины народа и кричит: «Посмотрите, как я справедлив!»

– Я не буду тебе отвечать теперь, – сказал Адриан, – но если ты вместе со мной сожалеешь об этом пролитии крови, помоги мне помешать ему.

– Я – нет! Пусть кровь рабов течет сегодня: скоро придет время, когда она будет смыта кровью вельмож.

– Прочь, негодяй! – вскричал Адриан, не желая более разговаривать и прикасаясь к кузнецу плоской стороной своего меча. В одно мгновение молот великана поднялся вверх

и непременно поверг бы молодого патриция на землю, если бы он не отскочил в сторону. Прежде чем кузнец успел нанести другой удар, меч Адриана дважды пронзил его правую руку, и молот тяжело упал на землю.

– Убейте его, убейте его! – вскричали многие из подданных Колонны, теснясь теперь, подобно трускам, вокруг безоружного и бессильного кузнеца.

– Да, убейте его! – сказал на сносном итальянском языке, но с варварским акцентом, человек, наполовину закованный в железо, и только что присоединившийся к группе. Он принадлежал к числу тех буйных немецких бандитов, которых Колонны содержали на жалованье. – Убейте его! Он принадлежит к гнусной шайке злодеев, заклятых врагов порядка и мира. Это один из приверженцев Риенцо и бредит народом.

– Ты говоришь правду, варвар, – сказал неугомонный кузнец громким голосом, открывая левой рукой свой камзол на груди, – идите сюда все, Колонна и Орсини, прокопайте вашими острыми клинками мою грудь до самого сердца и там, когда доберетесь до центра, вы найдете предмет нашей общей ненависти. Риенцо и народ!

При этой речи кузнеца, которая могла показаться выше его состояния, если бы всем римлянам в минуты вдохновения не были свойственны некоторая цветистость и преувеличение фразы и пылкость чувства, громкий голос его раздался сильнее голосов окружавших его людей и на минуту заглушил общий шум. Когда же, наконец, прозвучали слова «Риенцо и народ», то они проникли в самую средину разрастающейся толпы, и их повторила сотня голосов, подобно эху.

Но каково бы ни было впечатление, произведенное словами кузнеца на других, оно также было очевидно и на лице молодого Колонны. При имени Риенцо краска гнева исчезла с его щек, он отступил назад, проговорил что-то про себя и, несмотря на окружавшую его суматоху, казалось, погрузился в глубокую и угрюмую задумчивость. Он очнулся, когда крик затих, и сказал кузнецу тихим голосом: «Друг мой, мне жаль, что я тебя поранил; но приди ко мне завтра, и ты убедишься, что ты был несправедлив ко мне». Затем он дал немцу знак следовать за ним и начал пробираться через толпу, которая везде отступала при его приближении. В те времена в Риме самая ожесточенная ненависть к сословию нобилей соединялась с рабским уважением к их личности и с таинственным благоговением к их бесконтрольной власти.

Когда Адриан проходил через ту часть толпы, где драка еще не начиналась, его сопровождал говор, который немногим из его семьи посчастливилось бы услышать.

– Колонна, – сказал один.

– Но не похититель, – сказал другой с диким смехом.

– Не убийца, – пробормотал третий, прижимая руку к своей груди. – Не против него вопиет кровь моего отца.

– Да благословит его Бог, – сказал четвертый, – его еще никто не проклинает!

– О, помоги нам, Боже! – сказал старик с длинной седой бородой, опираясь на свою палку. – Змея еще молода, зубы скоро прорежутся.

– Стыдитесь, отец! Он милый молодой человек и не горд, по крайней мере. Какая у него улыбка! – сказала одна красивая матрона, стоявшая на краю того места, где происходила схватка.

– Прощай, честь мужа, если патриций улыбается его жене! – был ответ.

– Нет, – сказал Луиджи, веселый мясник с плутовскими глазами. – Если человек честным образом может добиться чего-нибудь от девушки или женщины, то пусть его – будет ли это патриций или плебей, вот моя мораль. Но если какой-нибудь безобразный, старый патриций отнимает у меня женщину, увозя ее на спине немецкого кабана, то он, по-моему, злой человек и прелюбодей.

Пока такие толки и разговор шли о молодом нобиле, совсем другого рода взгляды и слова сопровождали немецкого солдата.

Перед его тяжелой и вооруженной фигурой толпа расступалась с такой же, или с еще большей быстротой, но не с почтительными взглядами. Глаза сверкали при его приближении, но щеки бледнели, голова склонялась, губы дрожали; всякий чувствовал трепет ненависти и страха, как бы при появлении ужасного, смертельного врага. И с яростью в душе замечал этот свирепый наемник знаки всеобщего к нему отвращения. Он с суровым видом шел вперед то с презрительной улыбкой в лице, то злобно хмурясь, и его длинные заплетенные светлые волосы, темно-рыжие усы и мясистый лоб представляли сильный контраст с темными глазами, черными, как смоль, волосами и тонким телосложением итальянцев.

– Пусть Люцифер вдвое накажет этих немецких головорезов! – проворчал сквозь зубы один из граждан.

– Аминь! – отвечал от всего сердца другой.

– Тс! – сказал третий, боязливо оглядываясь. – Если кто-нибудь из них услышит твои слова, ты погиб.

– О Рим! Рим! – сказал с горечью гражданин, одетый в черное и принадлежавший, по видимому, к более высшему сословию, нежели остальные. – Как ты низко пал, если на собственных улицах трепещешь, заслышав шаги наемного варвара!

– Слушайте, что говорит один из наших ученых людей и богатых граждан! – сказал почтительно мясник.

– Это друг Риенцо, – сказал другой из толпы, приподнимая шапку.

Опустив глаза и с выражением печали, стыда и гнева на лице, Пандульфо ди Гвидо, уважаемый гражданин благородного происхождения, медленно пробрался через толпу и скрылся.

Между тем Адриан, войдя в улицу, которая, несмотря на близость к собравшейся толпе, была пуста и безмолвна, обратился к своему свирепому товарищу.

– Родольф! – сказал он. – Слушай! Не делать насилий гражданам. Вернись к толпе, собери друзей нашего дома, выведи их оттуда; пусть Колоннов не обвиняют в бесчинствах нынешнего дня. Уверь наших приверженцев, что я званием рыцаря, которое получил от императора, клянусь наказать Мартино ди Порто мечом моим за его преступление. Мне бы хотелось самому лично унять шум, но, кажется, мое присутствие служит только к поощрению его. Ступай, ты имеешь вес у всех их.

– Да, синьор, вес ударов! – отвечал угрюмый солдат. – Но приказание ваше трудно исполнить; мне бы хотелось, чтобы их грязная кровь текла еще один или два часа. Но, извините, повинуюсь вашим приказаниям, повинуюсь ли я также и приказаниям моего господина, вашего родственника? Ведь это старый Стефан Колонна, который – благослови его Бог! – редко бережет кровь и деньги (за исключением своих собственных!). На его деньги я живу и ему клялся в верности.

– Diavolo! – проворчал кавалер, и лицо его покрылось пятнами гнева; но с обычным самообладанием для итальянских нобилей он удержался и сказал громко со спокойствием и вместе с достоинством:

– Делай, как я приказываю; останови суматоху, постарайся, чтобы снисходительность была оказана с нашей стороны. Пусть через час шум затихнет, а завтра приди ко мне за наградой. Вот тебе кошелек в задаток будущей моей благодарности. Что касается моего родственника (о котором приказываю тебе упоминать с большим почтением), то я говорю от его имени. Слышишь, шум увеличивается, драка усиливается, ступай, не теряй ни минуты.

Несколько уstraшенный спокойной твердостью патриция, Родольф кивнул головой, не отвечая, засунул деньги за пазуху и пошел в толпу.

Молодой кавалер, оставшись один, следовал глазами за удаляющейся фигурой солдата, на блестящей каске которого сияли косые лучи заходящего солнца, и сказал самому себе с горечью:

– Несчастный город, родник всех великих воспоминаний! Падший царь тысячи наций, как развенчан и ограблен ты малодушными и отрекшимися от тебя детьми! Твои патриции ссорятся друг с другом, народ проклинает патрициев, священники, которые должны бы сеять мир, насаждают раздоры, отец церкви бежит из своих стен, его двор – галльская деревня... А мы! Мы, происходящие от самой гордой крови Рима, сыны цезарей, потомки полубогов, поддерживаем свою наглую и ненавидимую власть мечами наемников, которые, принимая от нас плату, издеваются над нашей трусостью, держат наших граждан в рабстве и за то властвуют над самими господами их! О, если бы мы, наследственные вожди Рима, могли чувствовать и найти свою законную опору в благодарных сердцах наших граждан!

Молодой Адриан так глубоко сознавал горькую истину всего им сказанного, что слезы негодования текли по его щекам, когда он говорил. Он не стыдился проливать их, потому что плач о падшем племени – святое чувство, а не женская слабость.

Медленно поворачиваясь, чтобы уйти, он вдруг остановился, услышав громкий крик: «Риенцо! Риенцо!» От стен Капитолия до Тибра далеко пронесся звук этого имени. Когда же он замер, то за ним последовало глубокое, всеобщее молчание. Можно было подумать, что сама смерть снизошла на город. На крайней точке толпы, и возвышаясь над нею, на обломках камня, вынутаго из развалин Рима для устройства баррикад в одну из последних распрей между гражданами, на этом безмолвном памятнике минувшего величия и настоящих бедствий города, стоял Риенцо. Будучи выше всего своего племени, он более всех был проникнут сознанием славы древних времен и унижения новых.

На расстоянии, на котором находился Адриан от этой сцены, он мог отличить только темный очерк фигуры Риенцо и слышать только слабый звук его могучего голоса. Но в покорном, хотя волнующемся море человеческих существ, толпившихся вокруг с открытыми головами, озаренными лучами солнца, он замечал невыразимое действие красноречия Риензи на всех, кто принимал в свою душу поток его пламенных мыслей. Современники описывают это красноречие почти как чудо, но на самом деле сила его основывалась более на симпатии слушателей, чем на обыкновенных способностях оратора.

Недолго Адриан ди Кастелло видел его фигуру и слышал его голос, но этого времени для Риенцо было достаточно, чтобы произнести все, чего желал сам Адриан.

Другой крик, еще сильнее и продолжительнее первого, крик, в котором выразилось облегчение от тревожных мыслей и сильного волнения, служил знаком окончания речи. После минутной паузы толпа рассыпалась по разным направлениям и пошла по улицам кучками и группами. Видно было, что речь на всех произвела сильное и неизгладимое впечатление. У каждого щеки пылали и язык говорил; одушевление оратора проникло в сердца слушателей. Он гремел против бесчинства патрициев, и однако же обезоружил гнев плебеев; одним словом, он проповедовал свободу, но запрещал своеволие. Он успокоил настоящее обещанием будущего. Он порицал их ссоры, но поддерживал дело их. Он удержал сегодняшнюю месть торжественным уверением, что завтра настанет правосудие. Так велика власть, так могущественно красноречие, так грозен гений одного человека, безоружного, незнатного, который не имеет меча и горностаевой мантии, но обращается к чувствам угнетенного народа!

IV

Приключение

Избегая раздробленных потоков рассеявшейся толпы, Адриан Колонна быстро шел по одной из узких улиц, которая вела к его дворцу, находившемуся на довольно значительном расстоянии от места последней ссоры. Полученное им воспитание делало его способным глубоко интересоваться не только несогласиями и распрями своей родины, но также сценой, которую он только что видел, и властью, которую выказал Риенцо.

Сирота из младшей, но богатой ветви семьи Колоннов, Адриан вырос под опекой и попечительством своего родственника, коварного, но вместе доблестного Стефана Колонны, который из всех нобилей Рима был самый могущественный, как по благосклонности к нему папы, так и по большому числу окружавших его вооруженных наемников. Адриан рано обнаружил необыкновенную в те времена склонность к умственным занятиям и усвоил многое из того, что было тогда известно относительно древнего языка и древней истории его родины.

Хотя Адриан был еще мальчиком в то время, когда видел горесть Риенцо по случаю смерти брата, но его доброе сердце прониклось симпатией к этой печали и стыдом за своих родственников, равнодушных к такому последствию их ссор. Он настойчиво искал дружбы Риенцо и, несмотря на свою молодость, понял силу и энергию его характера. Но хотя Риенцо по прошествии некоторого времени, казалось, перестал думать о смерти брата и снова стал посещать замок Колоннов, пользуясь их презрительным гостеприимством, однако же он держал себя в некотором отдалении и отчуждении, которые Адриан мог преодолеть только отчасти. Кола отвергал всякое предложение услуг, протекции и возвышения; а необыкновенная ласковость со стороны Адриана, вместо того, чтобы делать Риенцо общительнее, казалось, только оскорбляла его и заставляла держаться еще с большей холодностью. Непринужденный юмор и живость разговора, делавшие его прежде приятным гостем для тех, вся жизнь которых проходила в пирах и битвах, перешли в иронию, цинизм и едкость. Но тупоголовые бароны по-прежнему забавлялись его остроумием, и Адриан был почти единственным человеком, который видел змею, скрытую под его улыбкой.

Часто Риенцо сидел за столом безмолвный, но наблюдательный, как будто следя за каждым взглядом, взвешивая каждое слово, измеряя ум, хитрость и наклонности каждого гостя. Когда пытливость его по-видимому была удовлетворена, то он воодушевлялся. Его ослепительное, но едкое остроумие оживляло пир, и никто не видел, что этот невеселый блеск был признаком приближавшейся бури. В то же время он не упускал, ни одного случая смешиваться с низшим классом граждан, возбуждать их умы, воспламенять их воображение, поджигать их горячность картинами настоящего и легендами минувшего. Популярность и слава его росли, и он имел тем большее влияние на толпу, что был в чести у нобилей. Может быть, в этом последнем обстоятельстве заключалась причина, почему он продолжал посещать Колоннов.

Когда за шесть лет перед тем Капитолий Цезарей был свидетелем триумфа Петрарки, ученая слава молодого Риенцо привлекла к нему дружбу поэта, продолжавшуюся с незначительным перерывом до конца, несмотря на огромное различие карьеры этих двух людей. Впоследствии, в качестве одного из римских депутатов, Риенцо вместе с Петраркой² был послан в Авиньон умолять Климента VI перенести оттуда святой престол в Рим. При исполнении этого поручения он в первый раз выказал свои необыкновенные способности красно-

² Так говорят новейшие историки, но представляется более вероятным, что Риенцо был послан в Авиньон после Петрарки. Как бы то ни было, но Петрарка и Риенцо сблизились в Авиньоне, как говорит сам Петрарка в одном из своих писем.

речия и убеждения. Правда, первосвященник, желавший более спокойствия, нежели славы, не убедился его доводами, но был очарован оратором, и Риенцо возвратился в Рим, осыпанный почестями и облеченный достоинством важной и ответственной должности. Перестав быть бездейственным ученым и веселым собеседником, он вдруг стал выше всех своих сограждан. Никогда до сих пор власть не соединялась с такой строгой честностью, с таким неподкупным усердием. Он старался внушить своим товарищам такую же возвышенность принципов, но ему не удалось. Обретя прочное положение, он начал открыто апеллировать к народу, и, казалось, римская чернь уже была оживлена новым духом.

Между тем как все это происходило, Адриан надолго разлучился с Риенцо: его не было в Риме.

Дом Колоннов был твердой опорой императорской партии, и Адриан ди Кастелло получил приглашение ко двору императора. Там он начал заниматься военным искусством и среди немецких рыцарей научился смягчать свойственную итальянцам хитрость рыцарским благородством северной храбрости.

Оставив Баварию, он несколько времени жил в уединении одного из своих поместий, близ красивейшего озера северной Италии. Оттуда, развив свой ум деятельностью и учением, он посетил многие свободные итальянские государства. Он проникся понятиями, в которых не было тех предрассудков, какими отличались другие люди, принадлежавшие к его сословию, и рано приобрел свою репутацию, в то время как внутренне наблюдал за характером и делами других. В нем соединялись все лучшие качества итальянского нобиля. Это был человек, страстно преданный занятиям литературой, тонкий и глубокий политик, ласковый и приветливый в общении; саму любовь к удовольствиям он облагораживал какой-то возвышенностью вкуса. Он вел себя с достоинством, имел незапятнанную честь и отвращение к жестокости, редкие в то время качества между итальянцами: даже северные рыцари, отличаясь ими у себя, обыкновенно теряли, когда приходили в соприкосновение с систематическим вероломством и презрением к честности, составлявшими характер жестокого, но коварного юга. С этими качествами Адриан соединял более нежные страсти своих земляков, поклонялся красоте и боготворил любовь.

Только за несколько недель перед тем он возвратился в свой родной город, куда его репутация уже предшествовала ему и где помнили еще его раннюю любовь к литературе и его доброту. Он нашел положение Риенцо изменившимся гораздо более, нежели свое собственное. Адриан еще не был у ученого. Он прежде хотел издали, собственными глазами присмотреться к мотивам и целям его поступков, потому что он частично заразился подозрениями, какие имело его сословие насчет Риенцо, частично же разделял доверчивый энтузиазм народа.

— Конечно, — говорил он сам себе, задумчиво подвигаясь вперед, — никто больше его не имеет силы преобразовать наше больное государство, исцелить его раны и пробудить в наших гражданах воспоминания о доблестях предков! Разве я не видел в свободных государствах Италии людей, призванных к власти для защиты народа, которые были сперва честны, а потом, упоенные внезапным возвышением, изменяли тому самому делу, которое их возвысило. Правда, эти люди были вожди и нобили; но разве в плебейх меньше людских слабостей? Однако же я слышал и видел его издали, теперь я подойду и присмотрюсь к нему поближе.

Говоря с собой таким образом, Адриан обращал мало внимания на разных прохожих, которые попадались все реже, по мере того, как становилось позднее. Между ними были две женщины, которые теперь одни шли по той же длинной и темной улице, в которую свернул Адриан. Месяц уже ярко светил в небе, и женщины проскользнули мимо кавалера легким и быстрым шагом. Младшая оглянулась и посмотрела на него при этом свете пристальным, но робким взглядом.

– Чего ты дрожишь, моя милочка? – сказала ее спутница, которой можно было дать около сорока пяти лет и одежда и голос которой показывали, что она по своему званию была ниже младшей. – Улицы, кажется, теперь довольно спокойны, и, слава Богу, наш дом не слишком далеко.

– Ах, Бенедетта! Это он! Это молодой синьор, это Адриан!

– Это хорошо, – сказала кормилица (таково было ее звание) – потому что, говорят, он храбр, как северный воин; палаццо Колонны не очень далеко отсюда, и синьор Адриан может помочь нам в случае нужды! Конечно, милая моя, если вы будете идти потише.

Молодая девушка умерила свои шаги и вздохнула.

– Правда, он очень хорош, – проговорила кормилица, – но ты не должна больше думать о нем; он слишком выше тебя для того, чтобы на тебе жениться; что касается чего-нибудь другого, ты слишком честна, а твой брат слишком горд.

– А ты, Бенедетта, слишком проворна со своим языком. Как можешь ты это говорить, зная, что он никогда даже не говорил со мной, по крайней мере с тех пор, как я была совсем ребенком; мало того, он едва знает о моем существовании. Ему, Адриану ди Кастелло, грешить о бедной Ирене! Одна эта мысль – уже сумасшествие.

– Так зачем же ты, – быстро возразила кормилица, – грезишь о нем?

Ее спутница вздохнула опять глубже прежнего.

– Св. Катерина! – продолжала Бенедетта. – Если бы на земле был только один мужчина, то и тогда я скорее умерла бы, в одиночестве, нежели стала бы думать о нем, до тех пор пока бы он по крайней мере дважды не поцеловал мою руку, да и то если бы я сама была причиной, что он не поцеловал меня в губы.

Молодая девушка по-прежнему не отвечала.

– Но как тебе пришло в голову полюбить его? – спросила кормилица. – Ты не могла его видеть много раз: только четыре или пять недель прошло с тех пор, как он вернулся в Рим.

– Ах, как ты несносна! – отвечала Ирена. – Сколько раз я тебе повторяла, что я любила его еще шесть лет тому назад!

– Когда тебе пошел только десятый год, и кукла была бы для тебя самым приличным любовником! Право, синьора, ты хорошо воспользовалась своим временем.

– А в его отсутствие, – продолжала девушка нежно и грустно, – разве я не слышала рассказов о нем, и разве не был для меня даже звук его голоса подобен подарку любви, заставляя меня вспоминать о нем? Разве я не радовалась, когда его хвалили, не сердилась, когда его осуждали? Разве я не плакала от гордости, когда говорили, что он был победителем на турнире, и от горя, когда шептали, что его преданность была приятна какой-нибудь женщине? Разве шесть лет его отсутствия не были сном, а его возвращение пробуждением? Я вижу его в церкви, когда он и не подозревает о моем присутствии; он на коне проезжает мимо моего окна; разве этого счастья не довольно для любви?

– Но если он не любит тебя?

– Сумасшедшая! Я об этом не спрашиваю; нет, я даже не знаю, желаю ли я этого. Мне лучше мечтать о нем, представляя его таким, каким мне хотелось бы его видеть, нежели знать – каков он на самом деле. Он может оказаться не добрым, или не великодушным, или мало любить меня, но, по мне, лучше не быть любимой вовсе, нежели быть предметом холодной его любви и изнывать, сравнивая его сердце с моим. Я могу любить его, как что-то отвлеченное, невещественное и божественное: но каков будет мой стыд, каково горе, если я найду его хуже, чем воображала! Вот тогда бы моя жизнь погибла и красота на земле для меня исчезла!

Добрая кормилица не слишком-то была способна симпатизировать подобным чувствам. Если бы даже их характеры были более сходны, то и тогда неравенство лет сделало бы эту симпатию невозможной. Кто, кроме юноши, может служить отголоском души другого

юноши – всей музыки ее безумных порывов и романтических грез? Но не сочувствуя своей молодой госпоже в этом, добрая кормилица сочувствовала той пылкости, с какой все было высказано. Она считала безрассудным, но удивительно трогательным. Она отерла выступившие слезы кончиком своего покрывала и в глубине сердца надеялась, что ее молодая питомица скоро найдет себе действительного, а не воображаемого мужа, который вытеснит из ее головы эти невещественные фантазии. Затем в их разговоре последовала некоторая пауза, как вдруг на самом перекрестке двух улиц послышался громкий хохот в несколько плоток и шаги людей. Пламя поднятых факелов спорило с бледным светом луны. На очень близком расстоянии от двух женщин шла компания из семи или восьми человек, неся страшное знамя Орсини.

В числе других беспорядков того времени существовало у молодых и распутных нобилей обыкновение небольшими вооруженными компаниями расхаживать ночью по улицам, ища случая для буйного волокитства или для драки с какими-нибудь запоздавшими прохожими противной им партии. Подобную шайку встретили теперь Ирена и ее спутница.

– Матерь Божия! – вскричала Бенедетта, побледнев и чуть не убегая. – Что за бедствие на нас обрушилось! Как могли мы засидеться до такой поздней поры у синьоры Нины? Бегите, синьора, бегите, или мы попадемся им в руки!

Но совет Бенедетты опоздал, и в темноте одежда женщин была уже замечена; в одну минуту их окружили негодяи. Грубая рука сорвала покрывало Бенедетты, и при виде ее лица, черты которого хотя и не были пощажены временем, но все-таки не имели ничего особенно безобразного, дерзкий буян толкнул бедную кормилицу к стене с проклятием, на которое товарищи его отвечали громким смехом.

– Ты чертовски счастлив на лица, Джузеппе!

– Да, не далее как вчера он подцепил девушку шестидесяти лет.

– И для улучшения ее красоты перерезал ей лицо кинжалом, потому что ей было не шестнадцать!

– Тише, ребята! А это кто? – сказал предводитель компании, богато одетый человек, который несмотря на то, что приближался уже к средним летам, еще тем более предавался излишества юности, и он вырвал трепещущую Ирену из рук своих товарищей. – Эй! Факелы сюда! Oh, che bella faccia (какая красавица)! Как она краснеет – какие глаза! Нет, не смотри вниз, моя милочка; тебе нет надобности стыдиться того, что ты возбудила любовь в одном из Орсини – да. Узнай, какой великий подвиг ты сделала. Мартино ди Порто просит твоей улыбки!

– Пустите меня, ради Бога! Нет, синьор, этого не может быть, у меня есть друзья, это оскорбление вам не пройдет даром!

– Слышите, каким серебристым голосом она ворчит! Это приключение стоит того, чтобы его искать в течение целого месяца. Как! Вы противитесь? Огрызаетесь, кричите? Франческо, Пьетро! Закутайте ее в покрывало, заглушите эту музыку; вот так! Несите ее передо мной в палаццо, а завтра, моя милашка, ты вернешься домой с корзинкой флоринов и можешь сказать, что купила ее на рынке!

Но крики и противодействие Ирены уже привлекли к ней на помощь Адриана. Когда он приблизился, кормилица упала перед ним на колени.

– Ах, добрый синьор, ради Христа, спасите нас! Освободите мою молодую госпожу – ее друзья так вас любят! Мы все за Колоннов, да, право, все за Колоннов! Спасите родственницу ваших подданных, добрый синьор!

– Довольно того, что она женщина, – отвечал Адриан, – и что на нее напал один из Орсини, – прибавил он сквозь зубы. Он гордо вошел в самую середину группы; слуги схватились за мечи, но, узнав его, дали ему дорогу. Подойдя к двум людям, которые уже схватили Ирену, Адриан в один момент повалил переднего из них на землю; потом обнял

левой рукой легкий, тонкий стан девушки и стал против Орсини с обнаженным мечом, впрочем, опустив его вниз.

– Стыдитесь, монсиньор, стыдитесь! – сказал он с негодованием. – Или вы хотите принудить весь Рим к восстанию против нашего сословия? Не раздражайте льва, хотя он закован в цепи; воюйте с нами, если вам угодно. Обнажайте свои мечи против мужчин, хотя они принадлежат к вашему племени и говорят вашим языком: но если вы хотите спокойно спать ночью, не боясь нападения мстителей, и безопасно ходить на площади, то не оскорбляйте римской женщины! Да, эти самые стены напоминают вам о наказании за такое дело. За эту обиду пали Тарквинии, за эту обиду пали децемвиры, за эту обиду, если вы ее сделаете, потечет, как вода, кровь вашего дома. Так оставьте же, монсиньор, ваше безумное покушение, недостойное вашего великого имени. Оставьте и благодарите Колонну за то, что он стал между вами и минутным вашим безумием!

Вид и жесты Адриана были так благородны и величавы, что даже грубые слуги почувствовали дрожь одобрения и раскаяния, – только не Мартино ди Порто. Он был поражен красотой своей пленницы, так внезапно у него отнятой; он привык наносить оскорбления, привык к продолжительной безнаказанности. Уже один вид, один голос Колонны были противны его зрению и слуху: как же мог он вынести, что этот Колонна мешал его разврату и порокам?

– Педант! – вскричал он, и губы его задрожали. – Не болтай мне о своих пустых легендах и баснях. Не думай вырвать у меня мою добычу, когда твоя собственная жизнь в моих руках. Оставь девушку! Брось свой меч! Воротись домой без дальнейших разговоров или, клянусь честью и мечами моих слуг (посмотри на них хорошенько), ты умрешь!

– Синьор, – сказал Адриан спокойно, однако же отступая мало-помалу со своей прекрасной ношей к ближайшей стене, чтобы по крайней мере быть защищенным с тыла, – ты не употребишь превосходства сил своих во зло и не захочешь повредить своей чести, возбудив молву, что с восемью вооруженными людьми ты напал на одного человека, у которого притом не совсем свободны руки. Но если ты решился на такой поступок, то вспомни, что мне стоит крикнуть, и превосходство сил будет против тебя. Ты теперь в квартале моей семьи, ты окружен жилищами Колоннов; вон тот дворец наполнен людьми, которые спят не раздеваясь, мой голос сейчас может дойти до них, но он не в состоянии будет спасти тебя, если они попробуют крови!

– Он говорит правду, благородный синьор, – сказал один из толпы, – мы зашли слишком далеко; мы теперь в самой их берлоге, дворец старого Стефана Колонны так близко, что крик может дойти до него; насколько я знаю, – прибавил он шепотом, – и восемнадцать новых солдат вошли сегодня в его ворота.

– Хоть бы восемьсот врагов были против меня, – сказал Мартино с бешенством, – я не допущу, чтобы меня так провели слуги моей собственной свиты. Прочь ту женщину! К нападению, к нападению!

С этими словами он сделал отчаянный прыжок к Адриану, который, внимательно следя за всеми движениями неприятеля, был подготовлен к атаке. Отразив удар Мартино, он вскричал громким голосом: – Колонна! На выручку! Колонна!

Не без цели находчивый и умевший владеть собой Адриан старался до сих пор prolongировать переговоры. В ту самую минуту, как он в первый раз обратился к Орсини с речью, он при лунном свете увидел блеск лат, сиявших на груди двух человек, приближавшихся от дальнего конца улицы, и, приняв в расчет местность, решил, что это наёмные солдаты Колонны.

Осторожно он опустил Ирену на землю, потому что она лишилась чувств, и, став над нею спиной к стене, отражал беспрестанно направляемые против него удары, не стараясь отплатить за них. Как ни были привычны римляне к постоянной беспорядочной войне,

но не многие из них в то время хорошо и ловко владели оружием, – знание, приобретенное Адрианом в школах воинственного севера, помогло ему теперь, несмотря на превосходство сил неприятеля. Впрочем, свита Орсини не разделяла бешенства своего вождя. Частью боясь для себя последствий в случае, если кровь этого высокородного синьора будет пролита ими, частью тревожась опасением внезапного нападения со стороны наемников, которые были так близко, эти люди наносили удары без цели и как попало, оглядываясь каждую минуту назад и по сторонам, готовые скорее к бегству, нежели к убийству. С криком «Колонна!» бедная Бенедетта убежала при первом стуке мечей. Она бежала по мрачной улице и, не останавливаясь, миновала даже порталы Стефанова дворца (где еще бродило несколько угрюмых фигур): так велики были ее смущение и ужас.

Между тем, два вооруженные человека, которых заметил Адриан, не торопясь шли по улице. Один имел вид грубый и простой; его оружие и телосложение говорили о его ремесле и нации, к которой он принадлежал, а по большому уважению, с которым он обращался к своему товарищу, можно было заключить наверное, что этот товарищ не был итальянским уроженцем. Разбойники севера, в то самое время как они служили порокам итальянцев, почти не принимали на себя труда скрывать свое презрение к их трусости.

Товарищ наемника имел воинственный и непринужденный вид. Вместо шлема на голове у него была шапочка из малинового бархата с белым пером; на красном суконном плаще его были вышиты два широкие белые креста, один на груди, другой на спине; а полировка его лат была так блестяща, что когда по временам плащ его распахивался и открывал их, то они сияли так же, как игравшие на них лучи месяца.

– Нет, Родольф, – сказал он, – если тебе хорошо здесь у этого седого затейника, то я не стану заманивать тебя назад в нашу веселую шайку. Боже меня избави! Но скажи мне – этот Риенцо, как ты думаешь: имеет он прочную и полную власть?

– Фи! Благородный вождь, ничего подобного. Он нравится черни, а благородные смеются над ним; что же касается солдат, то у него на них нет денег!

– Так он нравится черни!

– Да, нравится; и когда он громко говорит к ней, то все в Риме стихает.

– Гм! При ненависти к нобилиям чернь, наняв солдат, в один час может сделаться господином. Честен народ – слаба чернь, испорчен народ – сильна чернь, – проговорил другой более про себя, нежели обращаясь к товарищу и, может быть, едва сознавая вечную истину своего афоризма. – Я подозреваю, что он не простой буян, этот Риенцо, я должен на это взглянуть. Чу! Что это за шум? Клянусь гробом Господним, это звук нашего металла!

– И крик «Колонна!» – вскричал Родольф. – Извините меня – я должен бежать на помощь!

– Да, это твоя обязанность, беги; впрочем, постой, я пойду с тобой *gratis*, просто из страсти к дракам. Клянусь, никакая музыка не может сравниться со звоном стали.

Адриан продолжал еще храбро защищаться и не был ранен, хотя его рука стала ослабевать, дыхание почти истощилось и глаза начали мигать и уставать, утомленные светом колеблющихся факелов. Сам Орсини, измученный бешенством, на минуту остановился, тяжело дыша и меряя противника свирепыми взглядами, как вдруг его слуги закричали: – Бегите, бегите! Бандиты идут, мы окружены! – и двое из них, без дальнейших разговоров, дали тягу. Другие пятеро остались в нерешимости и ожидали только приказания своего господина, когда воин с белым пером бросился в середину схватки.

– Как, господа, – сказал он, – вы уже кончили? Нет, не станем расстраивать забаву; прошу вас, начинайте опять. Как велико неравенство? Эге! Шестеро против одного! Неудивительно, что вы ждали более честной игры. Мы двое присоединяемся к слабейшей стороне. Ну, теперь начнемте.

– Наглец! – вскричал Орсини. – Знаешь ли, с кем ты говоришь так надменно? Я – Мартино ди Порто. А ты кто?

– Вальтер де Монреаль, провансальский дворянин и рыцарь св. Иоанна, – отвечал тот небрежно.

При этом грозном имени – имени одного из самых смелых воинов и первостатейных разбойников своего времени, щеки Мартино побледнели, а его приверженцы испустили крик ужаса.

– А этот мой товарищ, – продолжал кавалер, – вам, римским патрициям, вероятно, известен больше, нежели я: вы, без сомнения, узнаете в нем Родольфа из Саксонии, человека храброго и верного там, где его прилично награждают за его услуги.

– Синьор, – сказал Адриан своему врагу, который, изумленный и онемевший, бессмысленно смотрел на двух вновь прибывших людей, – вы теперь в моей власти. Смотрите, и наши люди идут.

И в самом деле со стороны дворца Стефана Колонны показались факелы и вооруженные люди, которые быстро приближались к месту происшествия.

– Ступай домой с миром, и если завтра или в другой какой-нибудь день, наиболее удобный для тебя, ты захочешь встретиться со мной один на один, копьё с копьём, по обычаю имперских рыцарей, или с несколькими людьми против нескольких, по обыкновению римлян, я не откажусь – вот моя перчатка.

– Благородно сказано, – заметил Монреаль, – и если вы избираете последнее, то, с позволения вашего, я буду одним из участников.

Мартино не отвечал; он поднял перчатку, засунул ее за пазуху и поспешил прочь. Только пройдя несколько шагов по улице, он обернулся назад и, махая на Адриана сжатым кулаком, вскричал голосом, дрожавшим от бессильной злобы: – Верен до смерти!

Эти слова были одним из девизов Орсини; и каково бы ни было их первоначальное значение, они давно уже перешли в обыкновенную поговорку для обозначения ненависти этой семьи к Колоннам.

Адриан, старавшийся теперь поднять Ирену, которая еще не очнулась, и привести ее в чувство, предоставил Монреалу отвечать на слова Мартино.

– Я не сомневаюсь, синьор, – сказал это последний холодно, – что ты будешь верен смерти, потому что смерть есть единственное обязательство, которого не могут нарушить или избежать люди, как бы хитры они ни были.

– Извини меня, благородный рыцарь, – сказал Адриан, поднимая глаза от Ирены, – если я еще не успел предаться вполне чувству признательности. Я довольно сведущ в законах рыцарства, и, надеюсь, ты согласишься с тем, что первая моя обязанность вот здесь.

– А! Так дама была причиной ссоры! Мне нет надобности спрашивать, кто был прав, если человек нападает на своего соперника с таким превосходством сил, как этот подлец.

– Ты несколько ошибаешься, господин рыцарь, это ягненок, которого я отнял у волка.

– Для своего собственного стола! Пусть будет так! – весело возразил кавалер.

Адриан с важностью улынулся и отрицательно покачал головой. Его положение было несколько затруднительно. Обыкновенно вежливый к дамам, он не хотел однако же подвергать кривотолкам бескорыстие своего последнего поступка и подрывать, во вред своим стараниям о приобретении популярности, доверие граждан к своему благородству, взяв в свой дом Ирену, красоты которой притом он до сих пор почти не заметил. Но в настоящем ее положении ничего другого невозможно было придумать. Она не обнаруживала никакого признака жизни. Он не знал ни дома ее, ни родства; Бенедетта исчезла. Он не мог оставить ее на улице; не мог решиться вверить ее попечению других; и теперь, когда она лежала на его груди, чувствовал, что она уже сделалась дорога ему, в силу покровительства, которое так льстит человеческому сердцу. Поэтому он вкратце объяснил собравшимся вокруг него

людям свое настоящее положение и причину происшедшей драки, и приказал факельщикам идти вперед для освещения дороги к его дому.

– Надеюсь, кавалер, – сказал он, обращаясь к Монреалю, – вы удостоите быть моим гостем, если не имеете уже более приятного приглашения?

– Благодарю вас, синьор, – отвечал Монреаль лукаво, – быть может и у меня есть свои дела. Прощайте! Я приду к вам при первом удобном случае. Покойной ночи, приятных снов.

И, напевая сквозь зубы эту грубую песню из старой легенды «Roman de Rou», провансалец ушел в сопровождении Родольфа.

При обширном пространстве Рима и небольшом его населении многие улицы его были совершенно пусты. Таким образом, знатнейшие нобили имели возможность владеть большими рядами строений, и укрепляли их частью друг против друга, частью против народа. Вокруг них жили многочисленные родственники и подданные, образуя, так сказать, сами по себе небольшие подворья и города.

Дом Адриана находился почти напротив главного дворца Колоннов, занимаемого могущественным родственником его Стефаном. Тяжело растворились массивные ворота перед молодым человеком. По широкой лестнице он понес девушку в комнату, которая, согласно вкусу Адриана, была убрана по моде, еще не распространившейся в те времена. Кругом были расставлены древние бюсты и статуи, разрисованные ломбардские обои украшали стены и покрывали массивные скамьи.

– Эй! Свеч и вина! – вскричал сенешаль.

– Оставьте нас одних, – сказал Адриан, бросая страстный взор на бледные щеки Ирены; при ярком свете луны он рассмотрел теперь вполне ее красоту, и сладкая, пламенная надежда затеплилась в его сердце.

V

Заговорщик и заря заговора

Один, у стола, покрытого разными бумагами, сидел человек в цвете лет. Комната была низка и длинна; вдоль стен было расставлено множество древних попорченных барельефов и торсов, перемешанных по местам с короткими мечами и касками, заржавевшими памятниками доблестей древнего Рима. Над самым столом, у которого он сидел, лунный свет врывался сквозь высокое и узкое окно, глубоко вдавшееся в массивную стену. Направо от этого окна, в нише, закрывавшейся задвижной дверью, находилось около тридцати или сорока манускриптов, количество, считавшееся тогда довольно значительной библиотекой. Это были большей частью тщательные копии, сделанные рукой владельца с бесмертных оригиналов. Дверь ниши была несколько отодвинута, но ее прочность и железный лист, которым она была обита, показывали, как дорого ценил владелец хранившееся за нею сокровище.

Склонившись щекой на руку, слегка нахмутив брови и сжав губы, он предавался размышлениям, далеко не похожим на спокойные грезы ученого. Тихий лунный свет, падавший сверху на его лицо, придавал еще более торжественного достоинства его чертам, от природы строгим и естественным. Густые волосы, каштановый цвет которых, редкий между римлянами, приписывался тевтонскому его происхождению, вились крупными кудрями на его высоком и открытом лбу; но его лицо имело не греческую форму, тем менее тевтонскую. Крепкая челюсть, орлиный нос, несколько впалые щеки поразительным образом напоминали характер суровой римской расы и могли бы послужить живописцу приличной моделью для изображения младшего Брута.

Резкий контур лица и короткая крепкая верхняя губа не были прикрыты бородой и усами, бывшими тогда в моде. На полинялом портрете его, сохранившемся в Риме, можно открыть некоторое сходство с обыкновенными изображениями Наполеона не собственно в чертах, которые на портрете римлянина суровее и резче, но в особенном выражении сосредоточенной и спокойной власти, которое так верно воплощает идеал умственного величия. Он был еще молод, но свойственные молодости преимущества, — свежесть и краска лица, округленные щеки, не изборожденные заботой, открытые, невпавшие глаза и нежная тонкость стана не отличали наружность уединенного труженика. Хотя современники считали его чрезвычайно красивым, но это суждение основывалось не на обыкновенных понятиях о наружности, а на том, что, кроме высокого роста, ценившегося тогда более, чем теперь, он обладал той более благородной и редкой в те грубые времена красотой, которую образованный ум и энергичный характер придают даже чертам непривлекательным.

Риенцо (это был он) приобретал все более твердости и энергии с каждой ступенью к власти. В его происхождении было одно обстоятельство, которое, вероятно, имело сильное и раннее влияние на его честолюбие. Несмотря на бедность и на низкое звание его родителей, отец его был побочный сын императора Генриха VII³; и вероятно из гордости, родители Риензи дали ему воспитание, выходившее из обыкновенной сферы. Гордость эта перешла к Heisry; происхождение его от царской крови, которое звучало в его ушах и питало его мысли от колыбели, заставляло его, с самой ранней юности, считать себя равным римским

³ Де Сад думает, что мать Риенцо была дочерью одного из незаконных сыновей Генриха VII и подкрепляет это мнение свидетельством рукописи, хранящейся в Ватикане. Но по свидетельству современных биографов, Риенцо, обращаясь к Карлу, богемскому королю, ссылается на свое родство с ним по отцу: «Divostro legnagio sono figho di bastardo d'Enrico imperatore», etc. Позднейший писатель, Padre Gabrini, в подтверждение происхождения Риенцо, ссылается на одну надпись: «Nicolaus Tribunus... Lavrentii Teutonicus Filius», etc. Ac.

синьорам и почти бессознательно стремиться к превосходству над ними. Но по мере того, как римская литература раскрывалась перед его жадным взором и честолюбивым сердцем, он пропитывался гордостью национальной, которая выше, чем гордость породы, и за исключением тех случаев, когда его подстрекали намеки на его происхождение, он искренно ценил в себе более римского плебея, нежели потомка тевтонского короля. Смерть брата и превратности в его собственной судьбе укрепили серьезные и величавые качества его характера; и наконец все способности его необыкновенного ума сосредоточились на одном предмете, который, от его мистически религиозного и патриотического духа, принимал характер чего-то священного и сделался для него в одно и то же время и долгом, и страстью.

– Да, – сказал Риенцо, очнувшись вдруг от своей задумчивости, – да, близок день, когда Рим снова возникнет из пепла. Угнетение будет низвергнуто правосудием; люди безопасно будут ходить на своем древнем форуме. Мы вызовем неукротимый дух Катона из его забытой могилы! В Риме опять будет народ! А я буду орудием этого торжества, восстановителем своего племени; мой голос первый подымет воинственный клич свободы, моя рука прежде всех воздвигнет знамя. Да, с высоты моей души я вижу уже возникающую свободу и величие нового Рима, и на краеугольном камне этого огромного здания потомство прочтет мое имя.

При этих словах вся личность говорящего, казалось, прониклась его честолюбием. Он ходил по мрачной комнате легкими, быстрыми шагами, как будто по воздуху; грудь его высоко вздымалась, глаза сверкали. Он чувствовал, что даже любовь едва ли может доставить восторг, равный тому, который в своем девственном энтузиазме ощущает патриот, сознающий искренность своих чувств.

Послышался легкий стук в дверь, и явился слуга в богатой ливрее папских служителей⁴.

– Синьор, – сказал он. – Монсиньор епископ Орвиетский!

– А! Очень рад. Свеч сюда! Монсиньор, это честь, которую я могу больше ценить, нежели выразить.

– Полно, полно, добрый друг мой, – возразил епископ, входя и непринужденно садясь, – всякие церемонии со служителями церкви излишни; и никогда, я думаю, она не нуждалась в друзьях больше, чем теперь. Эти нечестивые смуты, эти буйные распри в самых святилищах и городе св. Петра достаточны для того, чтобы служить соблазном для всего христианского мира.

– И это, – сказал Риенцо, – будет продолжаться до тех пор, пока его святейшество благосклонно не согласится утвердить свою резиденцию в местопребывании его предшественников, и сильной рукой не обуздает буйства нобилей.

– Увы! – отвечал епископ. – И ты знаешь, что эти слова – пустой звук. Если бы папа и исполнил твои желания и приехал из Авиньона в Рим, то, клянусь кровью св. Петра, он бы не обуздал нобилей, а нобили обуздали бы его. Тебе хорошо известно, что пока его предшественник, блаженной памяти, не принял благоразумного намерения удалиться в Авиньон, этот отец христианского мира, подобно многим другим отцам в старости, был под управлением и надзором своих мятежных детей. Разве ты не помнишь, как сам благородный Бонифаций, человек с великой душой и железными нервами, был в рабстве у предков Орсини? Он не входил и не выходил без их воли и, подобно орлу в клетке, разбился о стену своей тюрьмы и умер. Ты говоришь о воспоминаниях прежних времен Рима, но для пап эти воспоминания не совсем-то привлекательны.

– Пусть так, – сказал Риенцо с тихим смехом и подвигая свой стул ближе к епископу, – это, конечно, самый лучший довод монсиньора, и я должен признаться, что как ни было дворянство в те времена упрямо, своевольно и нечестиво, оно теперь еще хуже.

⁴ Не в теперешнем безобразном одеянии, которое, говорят, изобрел Микеланджело.

– Даже я сам, – прибавил Раймонд краснея, – я, наместник папы и представитель его духовной власти, не далее как три дня тому назад подвергся грубому оскорблению со стороны того самого Стефана Колонны, который всегда получал только благосклонность и ласки от святого престола. Его слуги затолкали моих среди улицы, и я сам, делегат властителя царей, был принужден отступить к стене и ждать, пока этот седой наглец пройдет мимо. Для довершения обиды не было недостатка в богохульных словах. «Извини, монсиньор епископ, – сказал он, проходя около меня, – но ты знаешь, что эти люди непременно должны иметь первенство перед другими».

– Его дерзость простерлась до этого! – сказал Риенцо, прикрывая свое лицо рукою, и на его губах показалась особого рода улыбка, едва ли веселая сама по себе, хотя она развеселяла других, но она совершенно изменила выражение его лица, от природы серьезное даже до суровости. – В таком случае для тебя так же, как и для нас, настало время к...

– К чему? – прервал епископ с живостью. – Разве мы можем что-нибудь сделать? Оставь свои восторженные грезы, сойди на землю, посмотри рассудительно вокруг. Что можем мы сделать против этих сильных людей?

– Монсиньор, – отвечал Риенцо епископу. – Несчастье людей вашего сана состоит в том, что они никогда не знают ни народа, ни духа времени. Как те, которые, стоя на вершине горы, видят внизу облака, скрывающие от их глаз ущелья и долины, между тем как другие, стоящие несколько выше обыкновенного уровня, обнимают взором движения и дома людей, – так точно и вы, с вашей гордой вершины, видите только смешанные и темные пары, между тем как я, с моего более скромного места, вижу приготовления пастухов к укрытию себя самих и своих стад от бури, которую предвещают эти облака. Не отчаивайтесь, монсиньор; терпение простирается только до известного предела, предел этот уже достигнут, Рим ждет только случая (и он придет скоро, хотя не внезапно) восстать против угнетателей...

Великая тайна красноречия состоит в искренности, – у Риенцо она заключалась в силе его энтузиазма. Может быть, подобно большей части людей, предпринимающих великие дела, он сам никогда не знал вполне о препятствиях, лежавших на его дороге. Он видел цель, ясную и светлую, и в мечтах своей души перепрыгивал преграды и пространство своего пути, и таким образом глубокое убеждение его ума неотразимо действовало на других. Он, казалось, не столько обещал, сколько пророчествовал.

На епископа орвиетского, который не отличался необыкновенным умом, но обладал холодным темпераментом и большой житейской опытностью, энергия его собеседника произвела впечатление, может быть тем более сильное, что его собственные страсти и гордость были возмущены против высокомерия и своеволия нобилей. Прошло какое-то время, прежде чем он ответил Риенцо.

– Но, – спросил он наконец, – только плебеи хотят восстать? Ты знаешь, как они изменчивы и ненадежны.

– Монсиньор, – отвечал Риенцо, – суди по одному факту, как много у меня друзей не простого звания. Ты знаешь, как громко я говорю против нобилей; я называю их по именам. Я издеваюсь над Савелли, Орсини, Колоннами, у самих ушей их. Неужели ты думаешь, что они прощают мне? Неужели ты думаешь, что они не схватили бы меня открытой силой, если бы моими защитниками и покровителями были одни плебеи, что мне не заткнули бы рта уже давно, засадив меня в тюрьму или закопав в могилу? Наблюдай, – продолжал он, заметив по лицу викария, что эти слова произвели на него впечатление – наблюдай, и ты увидишь, что во всем мире начался великий переворот. Варварская тема веков прояснилась; знание, которое в минувшие времена делало людей, так сказать, полубогами, вызвано из своей урны. Власть, которая тоныше грубой силы и могущественнее вооруженных людей, принялась за свою работу; мы опять начали поклоняться владычеству разума. Эта власть несколько лет тому назад увенчала Петрарку в Капитолии, не выдавшем триумфа в течение

двенадцати веков. Она человека темного происхождения и не известного военными подвигами осыпала почестями, служившими в древние времена наградой императорам и победителям царей, и соединила в одном деле поклонения гению даже соперничающие дома Колоннов и Орсини. Она заставила самых гордых патрициев наперебой добиваться чести нести шлейф и прикасаться к пурпурной мантии сына флорентийского плебея. Она до сих пор привлекает, глаза Европы к бедной Воклюзской хижине. Она дает скромному труженику всеми признанное право увещевать тиранов и приближаться с гордыми мольбами даже к папе. Она, безмолвно трудясь по всей Италии, ропщет под твердыми основами венецианской олигархии⁵. Она за Альпами видимо и внезапно пробудила жизнь в Испании, Германии и Фландрии и даже на варварском острове, завоеванном норманнами, в руках доблестнейшего из живущих королей⁶, пробудила дух, который не в силах уничтожить завоеватели. И эта власть живет повсюду, именем ее говорит человек, который теперь пред вами; убеждая в истине ее дел всех, на кого упал хоть один луч света, всех, в ком только могут быть возжены великодушные стремления! Знай, господин викарий, что, за исключением самих угнетателей, в Риме нет человека, сердце и меч которого не на моей стороне, если только он знает хоть одно слово нашего древнего языка. Мирные ученые, гордые, но не знатные нобили – это возникающее поколение, более благоразумное, чем их празднolibивые отцы; а более всего скромные служители церкви, священники и монахи, которые еще не ослепли и не оглохли от пышности и роскоши и поэтому видят и слышат чудовищные оскорбления, днем и ночью наносимые христианству, в христианской столице; все они неразрывными узами связаны с купцами, ремесленниками, ожидая только сигнала погибнуть или победить, жить свободно или умереть бессмертно, вместе с Риенцо и его родиной!

– Неужели ты говоришь это серьезно, – сказал епископ, вздрогнув и привставая на стуле, – докажи истину своих слов, и ты найдешь служителей Божиих не менее ревностными к общему благу, как и их мирские братья.

– Что я говорю, – отвечал Риенцо более спокойным тоном, – то могу и доказать, но только тем, которые хотят быть с нами.

– Не бойся меня, – сказал Раймонд, – мне, как уполномоченному представителю его святейшества, хорошо известны тайные его мысли. Если только он увидит, что сила патрициев, которые в своем высокомерии ни во что не ставят власть самой церкви, ограничена законными и естественными пределами, то он благосклонен к тому, кто это сделает. Я в этом уверен до того, что, в случае успеха, освящу его своим согласием в качестве папского наместника. Но берегись необдуманных попыток; церковь не должна ослаблять себя, приставая к шаткому делу.

– Согласен, монсиньор, – отвечал Риенцо, – и в этом политика церкви совершенно одинакова с политикой свободы. Судите о моем благоразумии по моему продолжительному отсрочиванию. Невероятно, чтобы тот, кто видит вокруг себя всеобщее нетерпение, кто сам не меньше нетерпелив, однако же не дает сигнала и выжидает, – невероятно, чтобы такой человек потерял свое дело через опрометчивость.

– В таком случае вот что, – сказал епископ, садясь. – По мере того, как твои планы будут созревать, не бойся сообщать их мне. Поверь, что Рим не имеет друга более преданного, чем тот, кто, будучи поставлен для сохранения порядка, находит себя бессильным против нарушения его. Теперь обратимся к цели моего посещения, которая, может быть, в некоторой степени имеет связь с тем, о чем мы говорили... Ты помнишь, что когда его святейшество вверил тебе твою теперешнюю должность, он приказал тебе объявить его благотворное

⁵ Около восьми лет после того, долго сдерживаемая ненависть венецианского народа к этой самой мудрой и бдительной из всех олигархий вспыхнула заговором при Марино Фалиеро.

⁶ Эдуарда III, в царствование которого начали проявляться мнения более либеральные, нежели какие господствовали в следующем столетии.

намерение учредить в Риме генеральный юбилей на 1350 год – намерение в высшей степени мудрое по двум причинам, которые достаточно ясны для тебя: во-первых, каждая христианская душа, которая предпримет по этому случаю путешествие в Рим, может таким образом получить общее отпущение грехов; а во-вторых, говоря с материальной точки зрения, стечение пилигримов, с их дарами и пожертвованиями, очень значительно поправит доходы святого престола, которые теперь, кстати сказать, не слишком в цветущем положении. Ты это знаешь, милый Риенцо.

Риенцо утвердительно кивнул головой; прелат продолжал:

– Его святейшество с величайшим прискорбием замечает, что его благочестивые намерения могут быть расстроены. На больших дорогах в окрестностях Рима разбойники так свирепы и многочисленны, что самый смелый пилигрим, может быть, побоится предпринять это путешествие. На него решатся, вероятно, только беднейшие люди христианского братства, которые, не имея при себе ни золота, ни серебра, ни драгоценных даров, будут иметь мало причины бояться хищности разбойников. Отсюда вытекают два следствия: с одной стороны, богатые, которые, как ясно видно из Евангелия, имеют наибольшую нужду в отпущении грехов, будут лишены этого благоприятнейшего случая; а с другой – у сокровищницы святого престола будет нечестиво похищено богатство, которое она в противном случае, без сомнения, получила бы от усердия его чад.

– Ничто не может быть логичнее этого, монсиньор, – сказал Риенцо.

Викарий продолжал:

– В письмах, которые я получил пять дней тому назад, его святейшество приказывает мне объяснить эти страшные последствия для христианского мира разным патрициям, законным вассалам церкви, и управлять их решительным союзом против дорожных грабителей; с ними я говорил, но напрасно.

– Потому, что они войсками этих самых разбойников или с их помощью укрепили свои дворцы друг против друга, – прибавил Риенцо.

– Именно по этой причине, – подтвердил епископ. – Мало того – Стефан Колонна имел дерзость сознаться в этом. Совершенно нечувствительный к гибели столь многих драгоценных душ и, могу я прибавить, к папской казне, которая благомыслящему человеку должна быть почти столько же дорога, они не хотят сделать ни одного шага против бандитов. Теперь послушай, в чем состоит второе приказание его святейшества. «В случае неуспеха у нобилей, – пишет он в своей пророческой прозорливости, – поговори с Колой Риенцо. Он человек смелый и благочестивый и, по твоим словам, имеет большое влияние на народ. Скажи ему, что если он придумает способ к искоренению этих сынов Велиала и к безопасности публичных дорог, то он щедро будет награжден нами, – мы будем обязаны ему вечной благодарностью. Если ты и служители нашего престола могут ему подать какую бы то ни было помощь, то пусть ему не будет в ней отказано».

– Так пишет его святейшество! – вскричал Риенцо. – Я ничего больше не требую – я должен быть благодарен, что он такого мнения о моем слуге и дает мне это поручение. Не колеблясь, я принимаю его и ручаюсь за успех. Итак, монсиньор, надо ясно обозначить пределы моей власти. Для обуздания разбойников вне города я должен иметь власть над разбойниками внутри его. Принимая на себя, с опасностью для жизни, дело очистить дороги к Риму от грабителей, которыми они наполнены, буду ли я уполномочен действовать смело, решительно и строго?

– Этого требует само свойство поручения, – отвечал Раймонд.

– Даже хотя бы это было против главных нарушителей порядка, против покровителей разбойников – против надменнейших из нобилей?

Епископ помолчал, и пристально взглянул в лицо своего собеседника.

– Я повторяю, – сказал он наконец, понизив голос и значительным тоном, – в подобных смелых предприятиях успех – единственная санкция. Имей успех, и мы простим тебе все, даже...

– Смерть какого-либо Колонны или Орсини, если того потребует правосудие, лишь бы только она была согласна с законами и заслужена нарушением их? – прибавил Риенцо твердо.

Епископ не отвечал словами, но легкое движение его головы служило Риенцо достаточным ответом.

– Итак, монсиньор, – сказал он, – с этого времени дело решено. Настоящий разговор я считаю началом переворота, восстановления порядка, возрождения государства. До сих пор зная, что правосудие не может падать на знатных преступников, я колебался из опасения, чтобы ты и его святейшество не сочли подобной строгости жестокостью и не порицали восстановителя закона за то, что он поражает его нарушителей. Теперь я понимаю вас лучше. Вашу руку, монсиньор.

Епископ протянул руку; Риенцо крепко сжал ее и почтительно приложил к своим губам. Оба понимали, что договор заключен.

Это совещание, так продолжительное в рассказе, было коротко в действительности; но предмет его был решен, и епископ встал. Дверь дома отворилась, многочисленные слуги епископа подняли факелы, и он вышел от Риенцо, который проводил его до ворот. Вдруг какая-то женщина, торопливо пробравшись через свиту прелата и вздрогнув при виде Риенцо, бросилась к его ногам.

– О, поспешите, синьор, поспешите! Ради Бога поспешите, иначе молодая синьора погибла навсегда!

– Синьора! Боже мой! Бенедетта, о ком ты говоришь? О моей сестре, об Ирене? Разве ее нет дома?

– Ах, синьор! Орсини, Орсини!

– Что такое? Говори же!

И Бенедетта, задыхаясь и с множеством перерывов, рассказала Риенцо, в котором читатель узнал брата Ирены, то, что ей было известно о приключении с Мартино ди Порто. Об окончании и результате драки она ничего не знала.

Риенцо слушал молча, но мертвая бледность в лице и дрожание нижней губы выдавали волнение, которого он не обнаруживал словами.

– Вы слышите, ваше преосвященство, вы слышите, – сказал он по окончании рассказа Бенедетты, обращаясь к епископу, уход которого был приостановлен этим рассказом, – вы слышите, каким оскорблениям подвергаются римские граждане! Шляпу и меч! Сейчас! Монсиньор, простите мою невежливость.

– Куда же ты идешь? – спросил Раймонд.

– Как куда? Впрочем, я забыл, что у вас нет сестры, монсиньор. Может быть также у вас нет и брата? Нет, я спасу одну жертву по крайней мере. Вы спрашиваете куда? В палаццо Мартино ди Порто.

– К Орсини, один, за правосудием!

– Да, один, за правосудием! – вскричал Риенцо громким голосом, схватывая меч, принесенный ему одним из слуг и стремительно выходя из дому. – Но одного человека довольно для мщения!

Епископ помедлил, размышляя.

– Он не должен погибнуть, подвергаясь один ярости этого волка, – прошептал он и потом вскричал: – Эй, факелы вперед! Живо! Мы, наместник папы, сами хотим посмотреть на это. Успокойтесь, добрые люди, ваша синьора будет вам возвращена. Эй, в палаццо Мартино ди Порто!

VI

Ирена в палаццо Адриана ди Кастелло

Как Пигмалион смотрел на изображение, в котором он воплотил мечты своей юности, по мере того как живые краски медленно выступали на мраморе, так молодой и страстный Адриан смотрел на склонившуюся перед ним фигуру, которая постепенно пробуждалась к жизни. Если эта красота не принадлежала к разряду величественных и ослепительных, если ее спокойный и неясный характер уступал в блеске многим в сущности менее совершенным чертам, то не было лица, которое для некоторых глаз могло бы показаться более очаровательным. Не было лица, которое бы в большей степени обладало тем необъяснимым девственным выражением, которого ищет итальянское искусство для своих моделей. Это – и внешняя скромность, и сокровенная нежность, цветущая юность лица и сердца, в первой поре их нежной и тонкой свежести, когда сама любовь, это единственное беспокойство, которое должно посещать девушку в подобном возрасте, бывает только чувством, а не страстью!

– Бенедетта! – прошептала Ирена, открывая наконец глаза и бессознательно обращая их на Адриана, стоявшего перед ней на коленях. Эти глаза имели тот неопределенный оттенок, на который можно было бы смотреть целые годы, не добившись тайны их цвета, – так изгонялся он с расширением зрачка, темнея в тени и переходя в лазурь от света.

– Бенедетта, – сказала Ирена, – где ты? Ах, Бенедетта, какой сон я видела!

«Я тоже, какое видение!» – думал Адриан.

– Где я? – вскричала Ирена, приподымаясь. – Эта комната, эти обои – Святая Дева! Неужели я еще во сне! – А вы – Боже мой! Это синьор Адриан ди Кастелло!

– Тебя разве научили бояться этого имени? – сказал Адриан. – Если так, то я отрекаюсь от него.

Ирена сильно покраснела, но не от безумной радости, с которой она выслушивала бы от Адриана первые слова преданности. Расстроенная и смущенная, испуганная тем, что находится в месте, ей чуждом, дрожа от мысли, что она наедине с человеком, который целые годы жил в ее воображении, Ирена более всего чувствовала тревогу и горечь. Эти чувства отразились на выразительном ее лице, и когда Адриан подвинулся к ней ближе, то, несмотря на тихость его голоса и почтение в его взглядах, опасения ее, сильные, несмотря на свою неопределенность, увеличились. Она отступила в дальний угол комнаты, дико озираясь вокруг, и, закрыв лицо руками, зарыдала.

Тронутый ее слезами и угадывая мысли ее, Адриан на минуту забыл свои более смелые желания.

– Не бойся, милая девушка, – сказал он с жаром, – умоляю тебя, опомнись, никакая опасность, ничто дурное тебе здесь не грозит. Эта рука спасла тебя от оскорблений Орсини, а эта кровля – дружеское убежище! Скажи мне свое имя, где ты живешь, позову моих слуг и сейчас же провожу тебя домой.

Может быть не столько слова, сколько облегчившие Ирену слезы привели ее в себя и сделали ее способной понимать свое настоящее положение. По мере того, как прояснившиеся чувства сказали ей, чем она обязана человеку, которого так долго воображала идеалом превосходства всякого рода, к ней возвратилось присутствие духа. Она выразила свою благодарность с очаровательной грацией, нисколько не потерявшей от того, что к ней пришивалось еще некоторое смущение.

– Не благодари меня, – отвечал Адриан страстно. – Я прикоснулся к твоей руке и награжден этим. Награжден! Нет! Вся благодарность, вся преданность должна быть выражена с моей стороны!

Покраснев опять, но уже от совершенно других чувств, нежели прежде, Ирена после минутной паузы отвечала:

– Однако, синьор, я должна понимать всю важность услуги, о которой вы говорите так легко. А теперь довершите вашу обязательность. Я не вижу здесь моей кормилицы, пусть она проводит меня домой; это недалеко отсюда.

– Да будет благословен воздух, которым я дышал, не подозревая твоей близости! – сказал Адриан. – Но, милая девушка, твоей кормилицы здесь нет. Я думаю, она убежала во время суматохи. Не зная твоего имени и не имея возможности в тогдашнем твоём положении узнать это от тебя, я, к моему счастью, должен был принести тебя сюда; я провожу тебя. Но что значит этот боязливый взгляд? Мои люди тоже пойдут с нами.

– Моя благодарность, синьор, имеет мало, цены; мой брат, которого ты знаешь, поблагодарит тебя более достойным образом. Могу я идти? – и с этими словами Ирена была уже у двери.

– Ты оставляешь меня с таким нетерпением! – отвечал Адриан грустно. – Увы, когда ты уйдешь от моих глаз, это будет похоже на то, как бы месяц скрылся с ночного неба. Но повиноваться твоим желаниям – все-таки счастье, хотя бы это разлучало меня с тобой.

Легкая улыбка промелькнула на губах Ирены, и Адриан услышал, как забилося его сердце, когда из этой улыбки и из этих потупленных глаз он вывел для себя благоприятное предзнаменование.

Медленно и неохотно Адриан повернулся к двери и позвал своих слуг.

– Но, – сказал он на лестнице, – ты говоришь, что мне неизвестно имя твоего брата. Дай бог, чтобы это был друг Колоннов!

– Он гордится, – отвечала Ирена уклончиво, – Кола Риенцо гордится тем, что он – друг всем друзьям Рима.

– Святая Дева! Этот необыкновенный человек твой брат? – вскричал Адриан, увидев в этом имени преграду для своей внезапной страсти. – Увы! В Колонне, в патриции он не признает никакого достоинства, хотя, милая девушка, твой счастливый избавитель давно старался сделаться его другом!

– Ты очень обижаешь его, синьор, – отвечала Ирена с жаром. – Он более всех других людей способен сочувствовать великодушной храбрости, хотя бы она была выказана для защиты самой последней римской женщины, тем более для защиты его сестры!

– Плохи времена, – отвечал Адриан задумчиво, – плохи времена, если люди, которые одинаково оплакивают бедствия родины, подозревают друг друга. Если быть патрицием – значит быть врагом народу, если тот, кого называют другом народа, считается врагом патрициев. Но пусть будет, что будет. О! Позволь мне надеяться, дорогая девушка, что никакие сомнения и раздоры не вытеснят из твоего сердца доброго воспоминания обо мне!

– Ах! Мало, мало вы знаете меня! – начала было Ирена и вдруг остановилась.

– Говори, говори! Ты не забудешь меня? И мы встретимся опять? Теперь мы идем к дому Риенцо; завтра я нанесу визит моему старому товарищу, и завтра я увижу тебя. Да?

Ирена отвечала молчанием.

– Ты сказала мне имя своего брата; сделай это имя приятным для моего слуха, прибавь к нему свое.

– Меня зовут Иреной.

– Ирена, Ирена! Позволь мне повторить. Это – нежное имя, оно остается на губах, как будто не хочет с ними расстаться; очень подходящее имя для такого создания, как ты.

Объясняясь таким образом с Иреной тем цветистым языком, на котором поэзия юношеской страсти во всех странах и во все времена высказывает свое великолепное безумие (хотя этот язык преимущественно был свойствен тому веку и понятен любви), Адриан проводил свою прекрасную спутницу домой, выбирая впрочем наиболее длинную дорогу, – хит-

рость, которую Ирена или не заметила, или безмолвно простила. Они уже подходили к улице, где жил Риенцо, как вдруг с ними столкнулась толпа людей с факелами. Это была свита епископа орвиетского, возвращавшаяся из палаццо Мартино ди Порто и шедшая (вместе с Риенцо) к палаццо Адриана. Не выдавшись с самим Орсини, они узнали от его слуг на дворе исход сражения и имя защитника Ирены. Несмотря на репутацию Адриана, как волокиты, Риенцо хорошо знал его характер и благородство, чтобы быть уверенным в безопасности Ирены под его покровительством. Увы! В этой самой личной безопасности часто заключается величайшая опасность для сердца. Никогда любовь женщины не бывает опаснее, чем тогда, когда тот, кого она любит, сдерживает ради нее свои порывы.

Прижавшись к груди брата, Ирена просила его поблагодарить ее избавителя; и Риенцо, с той откровенностью, которая так привлекательна у людей обыкновенно скрытных и которую должен по временам выказывать всякий, кто хочет управлять сердцами своих ближних, подошел к молодому Колонне и выразил свою похвалу и благодарность.

— Мы слишком долго были в разлуке друг с другом, и должны возобновить знакомство, — отвечал Адриан. — Я скоро навещу тебя, непременно.

Обратясь потом к Ирене, чтобы проститься с нею, он поднес ее руку к своим губам. Пожав эту руку, неужели он обманулся, вообразив, что нежные пальцы девушки слегка, невольно отвечали тоже пожатием?

VII

О любви и любовниках

Если бы Шекспир, взяв для своей драмы легенду о любви Ромео и Юлии, перенес сцену действия в более северный климат, то едва ли даже искусство этого великого поэта могло бы нас примирить, в одно и то же время, с внезапностью и силой страсти Джульетты. Даже и теперь, я думаю, между нашими благоразумными и рассудительными островитянами мало найдется таких, которые на прямой вопрос не захотят добросовестно признаться, что романтизм и пылкость несчастных веронских любовников им кажутся ненатуральными и преувеличенными. Но в Италии такая любовь, родившаяся в одну ночь и «сильная, как смерть», принадлежит к числу самых общих мест жизни, которая представляет там бесчисленные подобные примеры. Как в разные века, так и в разном климате любовь видоизменяется удивительным образом. Даже в настоящую минуту под итальянским небом многие простые девушки способны чувствовать то же, что и Джульетта, и многие простые любовники поспорят с Ромео в сумасбродстве. В этой жаркой стране продолжительное ухаживание неизвестно. Может быть, нигде не встречается так часто любовь с первого взгляда, и вместе с тем ни в какой стране любовь, вспыхнувшая так внезапно, не сохраняется с такой верностью. То, что созрело в воображении, вдруг переходит в страсть, которая постоянно поддерживается чувством. Пусть это будет моим и их извинением, если любовь Адриана возникла слишком внезапно, а любовь Ирены – слишком романтически. Эти качества они заимствуют от воздуха и солнца, от обычаев своих предков, от тонкой заразительности примера. Но они поддавались внушениям своего сердца с некоторой тайной грустью, с предчувствием, которое, может быть, имело свою прелесть, хотя это было предчувствие затруднений и чего-то недоброго. Происходя от гордой фамилии, Адриан почти не мог думать о браке с сестрой плебея, а Ирена, не подозревавшая будущей славы своего брата, едва ли могла питать какую-нибудь надежду, кроме надежды быть любимой. Но эти неблагоприятные обстоятельства, которые в более твердых, более благоразумных, более способных к самоотвержению и может быть в более доброжелательных умах, сформировавшихся под северным небом, служили бы побуждением к борьбе против любви, так невыгодно сложившейся, еще более способствовали поддержанию и укреплению любви Адриана и Ирены. Препятствия имели для них свою романтическую прелесть. Они находили частые случаи виденья, хотя и на короткое время, – не совсем наедине, а в присутствии потворствовавшей им Бенедетты – иногда в общественных садах, иногда среди обширных и пустых развалин, окружавших дом Риенцо. Не задавая много вопросов будущему, они предавались упоению и блаженству минуты. Они жили изо дня в день; их будущее заключалось в ближайшей их встрече; за этой чертой их юная любовь уходила в мрак тени, куда они не старались проникнуть. Они еще не достигли того периода привязанности, когда им могла грозить опасность падения, – их любовь не переступила порога той золотой двери, где оканчивается небо и начинается земля. Любовь для них была поэзия, неопределенность, изящество, а не сила, сосредоточенность и чувственность желания. Это были взгляд, шепот, мимолетное пожатие руки, обозначавшие грань чувства, которое наполняло их новой жизнью и возвышало их, вдыхая в них новую душу.

Стремления Адриана, бывшие до сих пор неопределенными, теперь определились и сосредоточились; грезы девушки, дорогой его сердцу, пробудились к жизни еще мечтательной, но уже истинной. Вся задушевность, энергия и пылкость чувства, которые у ее брата проявлялись патриотическими планами и стремлениями к власти, у Ирены смягчались в одной цели существования, в одном средоточии души – в любви. Но в этом по видимому ограниченном пространстве мысли и деятельности существовала сфера не менее

беспредельная, как и в обширном пространстве многообъемлющего честолюбия ее брата. Она не меньше его имела силы и воли ко всем возвышенным стремлениям, дарованным нашей смертной природе. Не менее велик был ее энтузиазм к своему идолу, не менее велики, в случае равных испытаний, были бы ее великодушие и преданность: но мужество ее, конечно, было бы выше, обожание ее – неизменнее и дальше от себялюбивых целей и низких намерений. Время, перемены, несчастье, неблагодарность не изменили бы ее. Какое государство могло бы пасть, какая свобода могла бы погибнуть, если бы усердие шумного патриотизма мужчины было столь же чисто, как безмолвное бескорыстие женской любви?

В них все было молодо; они обладали неохладевшим и непоблекнувшим сердцем – полнотой и роскошью жизни, имеющими в себе что-то божественное. В том возрасте, когда нам кажется, что мы не можем умереть, как ярко и сильно все, что создается нашим сердцем! Наша юность похожа на юность земли, когда леса и воды населены божествами, когда жизнь безумно кипит, но производит одну красоту, все ее образы – поэзия, все ее песни – мелодии Аркадии и Олимпа. Золотой век никогда не оставляет мира: он существует и будет существовать, пока есть на свете любовь, здоровье и поэзия. Но существует он только для людей молодых!

Если я теперь останавливаюсь на этой интермедии драмы, требующей более мужественных страстей, чем страсть любви, это я делаю потому, что нам представится очень мало подобных случаев. Если я распространился в описании Ирены и ее сокровенной привязанности, вместо того, чтобы предоставить обстоятельствам высказать ее характер, то это я делаю потому, что, как я предвижу, ее любящий и милый образ останется до конца более тенью, чем портретом. Он будет отодвинут на задний план более смелыми фигурами и более яркими цветами – обыкновенная судьба подобных натур, присутствие которых более ощутимо, нежели видно, сама гармония которых с целым состоит в их удалении и покорном спокойствии.

VIII

Энтузиаст и суждение о нем благоразумного человека

– Ты несправедливо судишь обо мне, – сказал Риенцо с жаром Адриану, когда они сели перед концом продолжительного своего разговора наедине. – Я не играю роли простого демагога; я не хочу возмущать глубину для того, чтобы мое благополучие выплыло со дна на поверхность. Я так долго думал о прошедшем, что мне кажется, будто бы я составляю его часть и не имею отдельного существования. Я выковал мою душу в одну господствующую страсть, и цель ее – восстановить Рим.

– Но какими средствами?

– Синьор, синьор! Для восстановления величия народа есть только одно средство: воззвание к самому народу. Князья и бароны не в силах доставить государству прочную славу; они возвышаются сами, но не возвышают вместе с собой народа. Все великие благотворительные перевороты были произведены всеобщим движением массы.

– Нет, – отвечал Адриан, – или мы поняли историю неодинаково. Мне кажется, что все великие благотворительные перевороты были делом немногих, и безмолвно приняты большинством. Но не будем спорить, как спорят в школах. Ты громко говоришь, что близок великий кризис, что *buono stato* (доброе государство) будет восстановлено. Каким образом? Где ваше оружие? Ваши солдаты? Разве нобили менее сильны, чем прежде? А чернь – разве она теперь смелее и постояннее? Бог свидетель, что я говорю, не придерживаясь предрассудков моего сословия; я оплакиваю упадок моей родины. Я римлянин и в этом имени забываю, что я патриций. Но я трепещу пред бурей, которую ты хочешь поднять так опрометчиво. Если твое возмущение удастся, то оно будет насильственным, успех будет куплен кровью – кровью всех самых гордых имен Рима. Ты имеешь целью второе изгнание Тарквиниев, но оно будет более похоже на второе изгнание Силлы. Кровь и беспорядки никогда не пролагают дороги миру. С другой стороны, если тебе не удастся, – цепи Рима сомкнутся навсегда и неудачная попытка к бегству послужит только предлогом к прибавке невольнику новых мучений.

– Так что же, по мнению синьора Адриана, мы должны делать? – спросил Риенцо с острой саркастической улыбкой, о которой я уже говорил. – Неужели нам следует ждать, пока Колонны и Орсини не перестанут ссориться? Или мы должны просить у Колоннов свободы, а у Орсини – правосудия? Синьор, мы не можем апеллировать к нобилим против нобилей. Нам некстати просить их, чтобы они умилили свою власть, которую мы должны возвратить себе сами. Эта попытка, может быть, опасна, но мы делаем ее среди памятников форума, и если мы погибнем, то погибнем достойными наших предков. Вы, люди высокого происхождения, вы имеете звучные титулы и обширные земли и говорите о вашей прадедовской чести. Мы, плебеи, тоже имеем свою: наши предки были свободные люди! Где наше наследственное имущество? Оно не продано, не отчуждено, а похищено у нас то обманом, то силой; украдено, когда мы спали, или вырвано у нас жестокими руками среди наших криков и борьбы. Синьор, мы требуем только возвращения нам этого наследства; наша, нет, не только наша, но и ваша свобода исчезла. Разве вы можете жить в доме своего отца без башен, укреплений и наемных мечей бандитов? Разве можете ходить по улицам в темноте без оружия и свиты? Правда, вы, благородные, можете мстить, а мы не смеем. Вы в свою очередь можете устрашать и оскорблять других, но разве своеволие вознаграждает за отсутствие свободы? Вам даны великолепие и могущество, но безопасность и одинаковые законы были бы лучшим даром. О, если бы я был на вашем месте, если бы я был даже на месте самого Стефана Колонны, я бы жаждал так же сильно, как теперь, свежего воздуха, который не проходит через решетки и укрепления, воздвигнутые против сограждан, а любит открытое пространство, которое безопасно, потому что находится под защитой закона, а не страха

и подозрения, неизбежных спутников ненавистной власти. Тиран воображает себя свободным, потому что он повелевает рабами: но самый незначительный крестьянин в свободном государстве свободнее его. О, синьор, если бы вы – мужественный, великодушный, просвещенный, вы, почти единственный из вашего сословия человек, знающий, что у нас была родина, о, если бы вы, который может сочувствовать нашим страданиям, захотели помочь нам в облегчении их!

– Ты хочешь войны против Стефана Колонны, моего родственника, но хотя я редко его вижу и, сказать правду, не питаю к нему большого уважения, но он – гордость нашего дома: как же я могу присоединиться к тебе?

– Его жизнь, его имения, его звание – будут в безопасности. Против чего мы воюем? Его могущество вредит другим.

– Если бы он узнал, что твоя сила не ограничивается словами, то он был бы не так милостив к тебе.

– Разве он не заметил этого? Разве клики народа не показали ему, что я человек, которого он должен бояться? Неужели он, лукавый, осторожный и проницательный, строя крепости и воздвигая башни, не видит с высоты их здания, которое я тоже построил?

– Вы! Где, Риенцо?

– В сердцах римлян! Разве он не видит? – продолжал Риенцо. – Нет, нет, он и все его племя слепы. Не правда ли?

– Мой родственник не верит вашей силе, иначе, он давно бы уже раздавил вас. Впрочем, нет. Не далее как три дня тому назад он сказал с важностью, что он желал бы лучше, чтобы вы говорили с чернью, нежели достойнейший из священников христианского мира; так как они только воспламеняют народ, но ни один человек не умеет так успокоить народ и заставить его разойтись, как вы.

– И его называют проницательным! Разве небо не делает воздух тихим, подготавливая бурю? Да, синьор, я понимаю. Стефан Колонна презирает меня. Я бывал (и щеки его сильно покраснели) – я бывал – вы помните это – в его дворце в мои более молодые годы и забавлял его своими замысловатыми рассказами и веселыми изречениями. Ха! Ха! Ха! Он, помните, в виде веселого комплимента называл меня своим забавником, шутом! Я перенес обиду; я даже поклонился при его одобрении. Я готов бы опять перенести эту пытку, подвергнуться тому же стыду из-за тех же побуждений и ради того же дела. Чего я хотел добиться? Можете вы сказать? Нет! Ну так я откровенно объясню это вам: я хотел добиться презрения Стефана Колонны. Это презрение защищало меня, пока я не перестал иметь надобности в защите. Я не желал прослыть между патрициями за страшного человека для того, чтобы иметь возможность спокойно и не возбуждая подозрений прокладывать свою дорогу к народу. Я так поступал прежде, теперь сбрасываю маску. Став против Стефана Колонны лицом к лицу, я могу хоть сейчас сказать ему, что не боюсь его гнева, что смеюсь над его тюрьмами и солдатами. Но если он считает меня прежним Риенцо, – пусть его; я могу ждать своего времени.

– Да, – проговорил Адриан в ответ на гордую речь своего собеседника; – скажи мне, чего ты требуешь для народа, чтобы избежать воззвания к его страстям? При его невежестве и прихотливости ты не можешь обращаться к его благоразумию.

– Я требую полного правосудия и безопасности для всех. Я не буду доволен ничем, что меньше этого. Я требую, чтобы нобили срыли свои крепости, распустили своих вооруженных наемников, отреклись от безнаказанности лиц знатного рода за преступления, не искали защиты нигде, кроме судов, действующих по общим для всех законам.

– Напрасное желание! – сказал Адриан. – Проси того, что можно дать.

– Ха-ха! – возразил Риенцо, горько смеясь. – Не говорил ли я вам, что просить закона и справедливости у вельможи – пустая мечта. Можете ли вы упрекать меня теперь за то, что я ищу их в другом месте? – Потом, вдруг изменяя тон и манеру, он прибавил с большой

торжественностью: – Наяву случаются ложные и пустые грезы; но сон иногда бывает вещим пророком. Посредством сна небо таинственно беседует со своими созданиями и руководит и поддерживает своих земных посланников на тропинке, по которой ведет их промысел его.

Адриан не отвечал. Не в первый раз он заметил, что сильный ум Риенцо странным образом соединен с глубоким и мистическим суеверием. И это еще более заставляло молодого нобиля, мало склонного к дикому суеверию того времени, сомневаться в успехе планов своего собеседника. Он сильно ошибался, хотя его ошибка была ошибкой людей, отличающихся житейской мудростью. Ничто так не внушает человеку смелости, как пламенное убеждение, что он есть орудие Божественной мудрости. Мщение и патриотизм, соединенные в одном человеке, гениальном и честолюбивом – вот Архимедовы рычаги, которые в фанатизме находят для себя лежащую вне мира точку, чтобы посредством ее двигать этот мир. Благоразумный человек может управлять государством, но только энтузиаст возрождает его – или губит.

IX

Когда народ увидел картину, то все удивлялись

Перед рыночной площадью, у подножия Капитолия, собралась огромная толпа. Каждый старался протолкаться вперед своего соседа; каждый старался добраться до одного особенного места, вокруг которого сплошная толпа образовала толстую стену.

– Согро di Dio, – сказал человек огромного роста, продвигаясь вперед, как какой-то массивный корабль, раскидывающий волны направо и налево, – это жаркая работа, но во имя Св. Девы, чего вы так толпитесь? Разве не видите, синьор Рибальд, что моя правая рука разбита и перевязана, так что я не могу теперь ничего сделать, точно малый ребенок? А вы нападаете на меня, как на какую-нибудь старую стену!

– А, Чекко дель Веккио! Да, мы должны дать вам дорогу, вы слишком малы и нежны и не в силах протолкаться через толпу. Подите сюда, я буду защищать вас! – сказал карлик около четырех футов ростом, взглянув на гиганта⁷.

– Право, – сказал угрюмый кузнец, озираясь на толпу, которая громко смеялась, услышав предложение карлика, – мы все нуждаемся в покровительстве; и большие, и малые. Чего вы смеётесь, вы, обезьяны? Впрочем, вы не понимаете притчей.

– И, однако же, мы пришли посмотреть на притчу, – сказал один из толпы, слегка оскалив зубы.

– Добрый день, синьор Барончелли, – отвечал Чекко дель Веккио, – вы хороший человек и любите народ; сердце радуется, когда вас видишь. Из-за чего вся эта суматоха?

– Папский нотариус выставил на площади большую картину, и зеваки говорят, что она имеет отношение к Риму; ну, так они теперь и вытапливают свои мозги на жару, чтобы отгадать загадку.

– Го, го! – сказал кузнец, подвигаясь вперед с такой силой, что вдруг оставил говорящего за собой. – И если Кола ди Риенцо затевает что-нибудь, то я готов пробиваться через каменные утесы, чтобы быть возле.

– Много добра принесет нам эта пачкотня, – сказал Барончелли кисло и обращаясь к соседям; но никто его не слушал, и он, претендент на звание демагога, злобно закусил губу.

Среди подавленных вздохов и проклятий мужчин, которых расталкивал дюжий кузнец, и открытой брани и пронзительных криков женщин, к платьям и головным уборам которых он оказывал столько же мало уважения, он дошел до пространства, огороженного цепями, в центре которого была поставлена большая картина.

– Как он пришел сюда? – вскричал один. – Я был первый на площади.

– Мы нашли ее здесь чуть свет, – сказал продавец плодов, – никого еще не было возле.

– Но почему вы вообразили, что в этом участвовал Риенцо?

– Кто же другой? – отвечали двадцать голосов.

– Правда! Кто другой? – отозвался долговязый кузнец. – Я готов поклясться, что добрый человек провел целую ночь, рисуя ее сам. Клянусь, славная картина! Что там нарисовано?

– Вот в том-то и загадка, – сказала одна торговка рыбой.

– Если бы я могла это разобрать, то умерла бы спокойно.

– Это, без сомнения, что-нибудь о свободе и о налогах, – сказал Луиджи, мясник, наклоняясь над цепями. – Ах, если бы Риенцо захотел, то всякий бедняк имел бы в своем горшке кусок мяса.

⁷ Современный биограф Колы ди Риенцо. Издание Циферино Re Forl: 1828 г.

– И столько хлеба, сколько бы мог съесть, – прибавил бледный хлебопек.

– Вот выдумали! Хлеба и мяса! Они теперь у всякого есть! Но какое вино пьют бедные люди! Никаких нет поощрений, чтобы можно было позаботиться о винограднике, – сказал виноторговец.

– Го-гопло! Многие лета Пандульфо Ди Гвидо! Дорогу – он ученый человек, друг великого нотариуса; он нам объяснит картину. Дорогу, дайте дорогу!⁸

Медленно и скромно Пандульфо ди Гвидо, спокойный, богатый, честный литератор, которого ничто, кроме насилия того времени, не могло вызвать из его тихого дома или из его рабочего кабинета, подошел к цепям. Он долго и пристально смотрел на картину, блестящую еще свежими влажными красками. Она была похожа на произведение возрождавшегося искусства, которое вначале отличалось грубыми и жесткими чертами, а потом было доведено до гораздо большей степени совершенства и встречается в картинах Перуджино, процветавшего в следующей генерации. Народ толпился вокруг ученого с открытыми ртами, обращая глаза то к картине, то к Пандульфо.

– Разве вы не видите, – сказал наконец Пандульфо, – в чем состоит понятный и осязательный смысл этой картины. Посмотрите, как живописец изобразил обширное и бурное море – заметьте, как оно волнуется.

– Говори громче, громче! – вскричала нетерпеливая толпа.

– Тс! – вскричали те, которые стояли вблизи Пандульфо, – достойного синьора можно слышать совершенно ясно.

Однако же некоторые из более изобретательных, пробравшись к одной стойке на рыночной площади, принесли оттуда неуклюжий стол и просили Пандульфо говорить с него народу. Бледный гражданин, с некоторой неохотой и застенчивостью из-за непривычки к речам, должен был согласиться. Но когда он бросил взгляд на огромную и притаившую дыхание толпу, то его глубокое сочувствие к ее делу вдохновило и ободрило его. Его глаза засверкали, голос приобрел силу, а голова, обычно опущенная на грудь, поднялась.

– Вы видите пред собой, – начал он опять, – могущественное и бурное море; на его волнах – пять кораблей; четыре из них превратились уже в обломки; их мачты разбиты, волны врываются через погнившие доски; для них уже нет ни помощи, ни надежды; на каждом из этих кораблей лежит тело женщины. Замечаете ли, как верно живописец в омертвевшем лице и безжизненном теле изобразил оттенки и отвратительный вид смерти? Под каждым из этих кораблей есть подписи, которые соединяют метафору с истиной. Вон под тем подписано «Карфаген», под другими тремя – «Троя», «Иерусалим» и «Вавилон». Для этих всех четырех кораблей – одна общая надпись: «Мы доведены несправедливостью до истощения». Обратите взгляд на середину моря – там вы видите пятый корабль, качающийся среди волн. Мачта его сломана, руль отбит, паруса порваны, но это еще не такое крушение, какое постигло другие корабли, хотя и с этим скоро будет то же самое. На палубе на коленях стоит женщина, одетая в траур: заметьте горе на ее лице; с каким умением художник изобразил глубину и безнадежность этого горя! Она простирает руки в молитве – она со слезами просит вас и небо о помощи. Теперь заметьте подпись – это Рим! – Да, ваша родина обращается к вам в этой эмблеме!

Толпа заволновалась, глухой ропот пробежал среди безмолвия, которое она до сих пор хранила.

– Теперь, – продолжал Пандульфо, – поверните глаза на правую сторону картины! И вы увидите причину бури; вы увидите, почему пятый корабль находится в такой опасности, а другие четыре погибли. Посмотрите – вон там четыре разных рода зверей; они из своих ужасных челюстей выпускают ветры и бури, которые тревожат и волнуют море. Первые –

⁸ Случаи, совершенно отдельные друг от друга (так как история, подобно вымыслу, имеет свои привилегии).

львы, волки и медведи. Это, как говорит вам надпись, законные и свирепые правители государства. Следующие – собаки и свиньи; это дурные советники и паразиты. Далее, вы видите драконов и лисиц – это несправедные судьи и нотариусы, люди, продающие правосудие. Вчетвертых – в зайцах, козлах, обезьянах, которые помогают производить бурю, вы, по надписи, видите эмблемы наемных воров и убийц, похитителей и грабителей. Вы до сих пор не понимаете, римляне? Или вы разгадали загадку картины?

Далеко, в своих массивных дворцах, Савелли и Орсини слышали отголоски криков, служивших ответом на вопрос Пандульфо.

– Разве у вас нет надежды? – продолжал ученый, когда утих шум, и прекращая первым звуком своего голоса восклицания и речи, с которыми каждый из толпы обратился к своему соседу. – Разве у вас нет надежды? Разве картина, показывающая вам бедствие, не обещает спасения? Взгляните, – над гневным морем открываются небеса, и Бог нисходит в величии и славе для суда; из лучей, окружающих Духа Божия, выдаются два пламенных меча, и на них – гневные, но пришедшие для освобождения, стоят двое апостолов – могущественные покровители нашего города! Прощай, народ Римский! Притча досказана⁹.

⁹ Сисмонди приписывает Риенцо прекрасную речь при объяснении картины, речь, в которой он гремел против пороков патрициев. Современный биограф Риенцо ничего не говорит об этой речи. Но, очевидно, Сисмонди счел нужным смешать в одно два обстоятельства.

Х

Вызван суровый дух, который впоследствии может растерзать чародея

В то время как вокруг Капитолия происходила эта оживленная сцена, внутри одной из комнат дворца сидел организатор и главный виновник волнения. В обществе спокойных писцов Риенцо, казалось, был углублен в скучные подробности своих занятий. До его комнаты доносились шум и гам, крики и шаги толпы, но он, казалось, не обращал на них внимания и ни на минуту не отрывался от своей работы. С неизменной регулярностью автомата, он продолжал вписывать в свою большую книгу ясным и красивым почерком того времени те проклятые цифры, которые лучше всякой декламации показывали обманы, совершаемые в отношении народа, и давали ему в руки оружие ясного факта, который так трудно опровергнуть.

– Страница 2, книга 13, – сказал он спокойным деловым голосом, обращаясь к писцам. – Посмотрите там статью – доходы с соляной пошлыны; департамент № 3 – хорошо. Стр. 9 кн. Д. Каков отчет Вескобальди, сборщика? Как! Двенадцать тысяч флоринов и только? Бессовестный негодяй! (Здесь послышался крик за окном: «Пандульфо, многие лета Пандульфо!») Пастуччи, друг мой, вы рассеяны: вы слушаете шум под окном – прошу вас, позабавьтесь вычислением, которое я вам поручил, Санти, какой приход показан у Антонио Тралли?

Послышался легкий стук в дверь, и вошел Пандульфо.

Писцы продолжали работу, хотя поспешно взглянули на бледное лицо почтенного посетителя, имя которого, к их великому удивлению, выкликал народ.

– А, друг мой, – сказал Риенцо довольно спокойным голосом, между тем как руки его дрожали от плохо сдерживаемого волнения, – вы хотите говорить со мной наедине? Ну, так пойдемте сюда. – С этими словами он провел гражданина в небольшой кабинет, прилегавший к задней части канцелярии, тщательно запер дверь и тогда, уже не скрывая своего явного нетерпения, схватил Пандульфо за руку. – Говори! – вскричал он. – Поняли они толкование? Сделал ли ты его достаточно ясным и осязательным? Глубоко ли запало оно в их душу?

– О, да, клянусь Святым Петром! – отвечал тот, дух которого был возбужден недавним открытием, что он тоже оратор – обольстительное удовольствие для застенчивого человека. – Они поглощали каждое слово толкования; они тронуты до мозга костей своих; вы сейчас могли бы вести их в битву и делать их героями. Что касается дюжего кузнеца...

– Чекко дель Веккио? – прервал Риенцо, – о, его сердце выковано из бронзы – что он сделал?

– Он схватил меня за полу, когда я сходил с моей трибуны (о, если бы вы могли меня видеть! *Per fede*, я заимствовал вашу мантию, я был второй вы!), и сказал плача, как ребенок: «Ах, синьор, я бедный человек и незначительный; но если бы каждая капля крови в моем теле была жизнью, то я отдал бы ее за мою родину!»

– Честная душа! – сказал Риенцо с волнением. – Если бы в Риме было пятьдесят таких! Никто не сделал нам столько добра из людей его класса, как Чекко дель Веккио!

– Они видят покровительство даже в его огромном росте, – сказал Пандульфо. – Что-нибудь да значит – слышать такие полновесные слова от такого полновесного малого.

– Были ли там какие-либо голоса против картины и ее смысла?

– Ни одного.

– В таком случае время почти созрело; несколько дней еще, а затем трубный глас! – При этих словах Риенцо сложил руки, опустил глаза и, казалось, впал в задумчивость.

– Кстати, – заметил Пандульфо, – я почти забыл сказать тебе, что толпа хотела нахлынуть сюда: так нетерпеливо эти люди хотели тебя видеть, но я просил Чекко дель Веккио взойти на роstrу и сказать им, что было бы неприлично теперь, когда ты занят в Капитолии гражданскими и духовными делами, вломиться к тебе такой большой толпой. Хорошо я сделал?

– Очень хорошо, Пандульфо.

– Но Чекко дель Веккио говорит, что он должен прийти поцеловать у тебя руку: и он явится сюда, как только получит возможность выбраться из толпы.

– Добро пожаловать! – сказал Риенцо полумашинально, потому что был углублен в размышления.

– Да вот он! – прибавил Пандульфо, когда один из писцов возвестил о приходе кузнеца.

– Пусть войдет, – сказал Риенцо, спокойно садясь. Когда кузнец очутился в обществе Риенцо, то для Пандульфо забавно было видеть удивительное влияние духа на материю. Грубый и могучий гигант, с крепким станом и железными нервами, который во всех народных волнениях возвышался над толпой, этот соединительный пункт и оплот других, – стоял теперь, краснея и дрожа, пред умом, который почти, можно сказать, создал его собственный. Одушевленное красноречие Риенцо раздуло искру, которая до тех пор таилась под пеплом в этой простой груди. Кто первый пробуждает в рабе чувство и дух свободы, тот приближается, насколько лишь дано человеку, более чем философ, более даже чем поэт, к божественному творчеству. Но если душа не приготовлена воспитанием к принятию этого дара, то он может сделаться проклятием для дающего, а тот, кто вдруг делается из раба свободным, может так же скоро сделаться из свободного негодяем.

– Подойти, мой друг, – сказал Риенцо после минутной паузы. – Я знаю все, что ты сделал и готов сделать для Рима! Ты достоин лучших дней его и рожден для того, чтобы принимать участие в их возвращении.

Кузнец упал к ногам Риенцо; тот, чтобы поднять его, протянул руку, которую Чекко дель Веккио схватил и почтительно поцеловал.

– Это не предательский поцелуй, – сказал Риенцо, улыбаясь, – но встань, мой друг, в этом положении мы должны находиться только пред Богом и его святыми.

– Тот свят, кто помогает нам в нужде! – отвечал кузнец. – И никто не сделал того, что ты. Но когда же, – прибавил он, понижая голос и пристально смотря на Риензи, как человек, который ждет сигнала нанести удар, – когда же мы начнем наше дело?

– Ты говорил со всеми честными людьми в твоём соседстве; совсем ли готовы они?

– На жизнь и смерть; они ждут приказания Риенцо!

– Я должен иметь список, знать число, имена, адреса и звания.

– Будет доставлено.

– Каждый должен подписать свое имя или поставить знак собственноручно.

– Это будет сделано.

– Так, слушай! Поди в дом Пандульфо де Гвидо сегодня вечером, на закате солнца. Он скажет тебе, где найти несколько мужественных людей; ты достоин быть в их числе. Ты не забудешь?

– Клянусь, я буду считать каждую минуту до тех пор! – сказал кузнец, и его смуглое лицо просияло гордостью от оказываемого ему доверия.

– Между тем, наблюдай за своими соседями, не давай никому унывать и падать духом, – никто из твоих друзей не должен быть запятнан клеймом изменника!

– Если я замечу, что кто-нибудь из наших отваливает, то я перережу ему горло, будь он сын моей матери! – сказал свирепый кузнец.

– Ха, ха! – отреагировал Риенцо своим странным смехом. – Чудо, чудо! Картина заговорила!

Было почти темно, когда Риенцо вышел из Капитолия. Широкое пространство, лежащее перед его стенами, было пусто; Риенцо шел задумавшись, плотно закутавшись в свой плащ.

«Я почти взобрался на вершину, – думал он, – и теперь у меня под ногами зияет бездна. Если мне не удастся, то – какое падение! – последняя надежда моей родины гибнет со мной. Никогда патриций не восстанет против патрициев. Никогда другой плебей не будет иметь удобных случаев и власти, как имею я! Рим связан со мной одной нераздельной жизнью. Свобода во все времена утверждалась на тростнике, который может быть с корнем выворочен ветром. Но, о Провидение! разве Ты не сохранило и не отметило меня для великих дел? Шаг за шагом Ты меня вело к этому важному предприятию! Каждый последующий час был приготовляем предыдущим! И однако же, какая опасность! Если непостоянный народ, сделавшийся трусливым вследствие продолжительного рабства, станет только колебаться во время кризиса, я погиб!»

При этих словах он поднял глаза и увидел первую вечернюю звезду, которая спокойно сияла над обломками Тарпейского утеса. Это было неблагоприятное предзнаменование, и сердце Риенцо забилося сильнее, когда эта темная, обвалившаяся масса вдруг представлялась его взорам.

«Грозный памятник, – думал он, – каких темных катастроф, каких сокровенных планов бывал ты свидетелем! К какому множеству предприятий, о которых история молчит, ты приложил печать свою! Как можем мы знать – были они преступники или праведники? Как можем мы быть уверены, что тот, кого осудили, как изменника, не был бы, в случае своего успеха, награжден бессмертием, как избавитель? Если я паду, кто напишет мою историю? Кто-нибудь из народа? Увы! Слепая и несведущая, эта масса не может создать умов, которые могли бы апеллировать к потомству. Кто-нибудь из патрициев? Тогда какими красками я буду изображен! Для меня не найдется гробницы между обломками, ни одна рука не принесет цветов на мою могилу – все мои мечты о минувшей чести и славе послужат только к тому, чтобы осудить меня на вечный позор!»

Размышляя таким образом накануне огромного предприятия, на которое он себя обрек, Риенцо продолжал свой путь. Дойдя до Тибра, он несколько минут постоял около этой исторической реки, в глубине которой отражалось пурпурное и освещенное звездами небо. Он перешел мост, ведущий к кварталу Трастевринскому, гордые обитатели которого считают себя единственными настоящими потомками древних римлян. Здесь его шаги сделались скорее и легче; более светлые, хотя и не столь важные мысли наполнили его душу; и честолюбие, успокоившееся на минуту, оставило его напряженный и озабоченный ум под владычеством более нежной страсти.

XI

Нина ди Разелли

– Говорю тебе, Люция, мне не нравятся эти материи; они ко мне не идут. Видела ли ты такие жалкие краски? Это пурпур? Как же! Это малиновый цвет? Зачем этот человек их оставил? Пусть он их завтра возьмет и несет, куда хочет. Они могут годиться синьорам по ту сторону Тибра, которые воображают, что все венецианское должно быть совершенно; но я, Люция, вижу собственными глазами и сужу собственным умом.

– Ах, дорогая синьора, – сказала служанка, – и если бы вы были – да вы и будете непременно, рано или поздно, – большой синьорой, то с каким достоинством вы носили бы ваши почести! Santa Cecilia при синьоре Нине ни на одну римскую даму никто бы не смотрел!

– Не правда ли, мы показали бы им, что значит великолепие? – отвечала Нина. – О, какие мы задавали бы праздники! Видела ты с галереи праздники, данные на прошлой неделе синьорой Джулией Савелли?

– Да, синьора; и когда вы ходили по зале в своем наряде из серебряной парчи, усеянной жемчугом, то по галерее пробегал такой говор; все кричали, что Савелли принимает у себя ангела.

– Те! Люция, не льсти, девочка.

– Это чистая правда, синьора. Ну да это был действительно праздник, не правда ли? Какое великолепие! Пятьдесят слуг в красном сукне и золоте! Музыка играла все время. Менестрели были приглашены из Бергамо. Разве этот праздник вам не понравился? О, я ручаюсь, много сладких речей вам наговорили в тот день!

– Нет, там недоставало одного голоса, и этим вся музыка была испорчена. Но, милая, если бы я была на месте синьоры Джулии, то я не довольствовалась бы таким бедным праздником.

– Как, бедным! Все нобили говорят, что он перещеголял великолепнейший свадебный праздник Колонны. Мало того, один сидевший рядом со мной неаполитанец, который служил у королевы Иоанны во время ее свадьбы, говорил, что такого не было даже в Неаполе.

– Может быть. Я не имею никакого понятия о Неаполе; но знаю, чем был бы мой двор, если бы я была тем, чем никогда не могу быть, а не тем, что я теперь. Посуда для банкета была бы у меня из золота, кубки до самых краев усыпаны были бы дорогими камнями, ни одного дюйма грубых плит пола не было бы видно, все было бы покрыто золотой парчой. Фонтаны в саду брызгали бы благовониями востока; мои пажи не были бы неотесанные ребята, краснеющие за свою неловкость, а прекрасные мальчики моложе двенадцати лет, взятые из лучших дворцов Рима, а что касается музыки, ах, Люция! Каждый музыкант имел бы на голове венок и стоял бы его; а кто играл бы лучше всех, тот для поощрения остальных получал бы награду, розу из моих рук. А заметила ты платье синьоры Джулии? Какие цвета! Они затмили бы солнце в полдень! Желтый, голубой, оранжевый и пурпурный! Боже мой! Глаза мои потом болели целый следующий день!

– Конечно, синьора Джулия не имеет вашего искусства подбирать один цвет к другому, – сказала, поддакивая, служанка.

– А какая мина! Вовсе нет царственного величия! Она двигалась по зале, путаясь почти каждую минуту в своем шлейфе; да еще сказала с глупым смехом: «Эти праздничные платья только одна беспокойная роскошь». Правда. Потому что для знатных не должно быть праздничных платьев. Для себя, а не для других я одевалась бы. Каждый день у меня было бы новое платье, лучше прежнего; каждый день был бы у меня праздником!

– Мне кажется, – сказала Люция, – что синьор Джованни Орсини очень ухаживал за синьорой.

– Он! Медведь!

– Медведь, может быть! Но у него дорогая шкура. Богатства его несметны.

– И дурак, не умеет их тратить.

– А это молодой синьор Адриан ди Кастелло говорил с вами у самых колонн, где играла музыка?

– Может быть, не помню.

– Однако же, я слышала, что немногие дамы забывают, когда за ними ухаживает синьор Адриан ди Кастелло.

– Там был только один человек, который, по-моему, стоит того, чтобы о нем вспомнить, – отвечала Нина, не заметив намека хитрой служанки.

– Кто же это? – спросила Лючия.

– Старый ученый из Авиньона.

– Как! Этот, с седой бородой? Ах, синьора!

– Да, – сказала Нина серьезно и грустно, – когда он говорил, все исчезало из моих глаз, потому что он говорил мне о нем!

При этих словах синьора глубоко вздохнула, и слезы подступили к ее глазам.

Служанка подняла презрительно губу, и ее глаза выразили изумление; но она не посмела возразить.

– Открой решетку, – сказала Нина после паузы, – и дай мне вон ту бумагу. Не эту, а стихи, которые мне присланы вчера. Как, ты итальянка, а не можешь инстинктом угадать, что я говорю о стихах Петрарки!

Нина села у открытого окна, через которое прокрадывались яркие и нежные лунные лучи. Лампа стояла возле нее и, прикрыв свои глаза, как будто для того, чтобы защитить себя от ее света, а на самом деле для того, чтобы спрятать свое лицо от взглядов Люции, молодая синьора, казалось, углубилась в чтение одного из тех нежных сонетов, которые в то время кружили головы и воспламеняли сердца в Италии¹⁰.

Родившись в одной обедневшей семье, которая, хотя и гордилась своим происхождением от консульского поколения Рима, но в это время едва удерживала место между низшим дворянством, Нина ди Разелли была балованным ребенком – идолом и тираном своих родителей. Энергичный и своенравный характер ее был причиной, что она управляла там, где должна была бы повиноваться; и так как всегда природные наклонности могут преодолеть установившийся обычай, то она, несмотря на то, что родилась в стране, где молодые и незамужние женщины обыкновенно стеснены и связаны в своих поступках, присвоила, а через то и приобрела привилегию независимости. Правда, она имела больше образованности и ума, чем их обыкновенно выпадало на долю женщин того времени; и довольно для того, чтобы в глазах своих родителей быть чудом. Она обладала также тем, что они ценили еще больше – необыкновенной красотой, и – чего они боялись – неукротимой гордостью, которая, однако же, соединялась с тысячью нежных и привлекательных качеств и даже, казалось, исчезала там, где она любила. В одно и то же время тщеславная и великодушная, решительная и страстная, она в самом тщеславии своем обладала каким-то великолепием, в причудливости – идеальностью: ее недостатки составляли часть ее блистательных качеств; без них она бы казалась меньше женщиной. Зная ее, вы бы судили обо всех женщинах не иначе, как принимая ее за образец. Рядом с ней более нежные качества казались не очаровательнее, а пошлее. Она не имела честолюбия низшего сорта, она упорно отказалась от многих партий, на которые дочь Разелли почти не могла надеяться. Необразованные

¹⁰ Хотя правда, что любовные сонеты Петрарки не были тогда, как и теперь, наиболее уважаемыми из его произведений, но говорить, что они были мало известны и что к ним итальянцы были холодны, – большая ошибка. Они имели огромный и всеобщий успех. Каждый певец пел их на улицах, и по словам Филиппа Виллани – *gravissimi nesciebant abstinere*, – т. е. даже самые серьезные люди не могли удержаться от чтения их.

умы и дикое могущество римских патрициев казались ее воображению, преданному мечтам и поэзии высокого звания, чем-то варварским и возмутительным, внушающим в одно и то же время ужас и презрение к ним.

Поэтому она миновала свой двадцатый год, не выйдя еще замуж, но не без любви, о которой мечтала. Сами недостатки ее характера возвысили тот идеал любви, который она себе составила. Ей нужно было существо, вокруг которого могли бы соединиться все ее наиболее тщеславные качества: она чувствовала, что любовь ее должна была переходить в обожание; ей нужен был необыкновенный идол, пред которым бы склонился ее твердый и повелительный дух. Не похожая на женщин более кротких, которые любят выполнять мимолетные капризы нежного господства над мужчиной, она должна была перестать повелевать там, где любила, и тотчас же перейти от гордости к преданности. Качества, которые могли привлечь ее, были так редки, ее гордость так настоятельно требовала, чтобы они были выше ее собственных, хотя того же рода, что ее любовь возвысила свой идеал в степень какого-то божества. Привыкнув презирать, она чувствовала всю роскошь благоговения! И если бы судьба соединила ее с человеком, которого она любила бы таким образом, то натура ее могла бы возвыситься натурой своего образца. Что касается ее красоты... Читатель, если ты когда-нибудь будешь в Риме, то увидишь в Капитолии изображение Кумской Сивиллы, о котором не может дать даже слабое понятие ни одна из многочисленных ее копий. В мрачной красоте этих глаз есть что-то странное и неземное. Прошу тебя, не смешивай этой Сивиллы с какой-нибудь другой, потому что в римских галереях множество Сивилл¹¹. Та, о которой я говорю, смугла, и лицо ее имеет восточный тип; платье и тюрбан при всей своей пышности меркнут пред густым, но прозрачным румянцем ее розовых щек; волосы ее были бы черны, если бы не имели того золотого блеска, который смягчает их цвет и дает ему оттенок, встречаемый только на юге, да и то чрезвычайно редко; черты, хотя не греческие, но безукоризненные, рот, лоб, окончательно сформировавшийся в изящный контур, – все человечно и сладострастно; выражение, вид представляют нечто более возвышенное; формы, может быть, слишком полны для совершенства красоты, для пропорций скульптуры, для изящества афинских моделей, но этот роскошный недостаток имеет свое величие. Смотрите подольше на картину: она чарует, она приковывает глаз. Когда вы глядите на нее, вы вызываете время за пять столетий назад. Пред вами живой портрет Нины ди Разелли.

Внимание прекрасной Нины было в эту минуту погружено не в остроумные и выработанные фантазии Петрарки, в которых он, несмотря на свой поэтический гений, часто принимает педантизм за страсть. Глаза ее были устремлены не на страницы, а на сад под окном. Лунный свет падал на старые фруктовые деревья и на вьющиеся виноградные лозы; среди зеленого, но полузапущенного дерна вода маленького круглого фонтана, совершенные пропорции которого говорили о днях давно минувших, играла и сверкала отражавшимися в ней звездами. Сцена была спокойна и прекрасна, но Нина не думала ни об ее спокойствии, ни об ее красоте: она обращала глаза к одному, самому темному и мрачному месту. Там деревья стояли густой массой, скрывая от глаз низкую, но толстую стену, которая окружала дом Разелли. Сучья этих деревьев чуть пошевелились, но Нина заметила их колебание, от массы их медленно и осторожно отделилась одинокая фигура, от которой на траву упала длинная и темная тень. Фигура подошла к окну и тихим голосом проговорила имя Нины.

¹¹ Это известная Сивилла Доменикино. Как произведение искусства, Сивилла Тверчино, называемая персидской Сивиллой и находящаяся в той же коллекции картин, может быть выше; но по красоте и характеру Сивилла Доменикино несравненна.

– Скорее, Лючия! – вскричала она, задыхаясь. – Скорей! Веревочную лестницу! Это он! Он пришел! Как ты медлишь! Поторопись, девочка, его могут заметить! Так, теперь она привязана. Мой милый, мой герой, мой Риенцо!

– Это вы! – сказал Риенцо, войдя в комнату и обхватывая руками ее стан. – Что ночь для других, то день для меня!

Первые минуты встречи и приветствий прошли, и Риенцо сел у ног своей красавицы. Голова его склонилась на ее колени, глаза были устремлены на ее лицо, руки обоих были соединены вместе.

– И для меня ты презираешь эти опасности, – сказал Риенцо, – стыд в случае разоблачения тайны, гнев родителей!

– Что значат мои опасности в сравнении с твоими? О, Боже! Если бы отец мой увидал тебя здесь, ты бы погиб.

– Он счел бы таким страшным унижением, что ты, прекрасная Нина, которая могла бы быть под стать самым гордым именам Рима, тратишь свою любовь на плебея, хотя он внук императора!

Гордое сердце Нины было в состоянии вполне сочувствовать уязвленной гордости ее милого: она заметила боль, скрывавшуюся под беспечным тоном его ответа.

– Разве ты не говорил мне, – сказала она, – и о великом Марии, который не был благородным, но от которого вести свой род надменнейшие Колонны почли бы счастьем? Разве я не вижу в тебе человека, который затмит могущество Мария, не запятнав себя его пороками?

– Упоительная лесть! Милая предвещательница! – сказал Риензи с меланхолической улыбкой, – и никогда твои ободрительные обещания будущего не были для меня более кстати, чем теперь. Я скажу тебе то, чего бы не сказал никому другому: моя душа почти подавлена огромным бременем, которое я на себя принял. Я имею нужду в новом мужестве, потому что страшный час приближается. Я почерпну это мужество из твоих взглядов и слов.

– О! – отвечала Нина, краснея. – Славен жребий, который я купила моей любовью к тебе: разделять твои планы, утешать тебя в сомнении, нашептывать тебе любовь в минуты опасности!

– И награждать меня в минуты торжества, – прибавил Риенцо страстно. – О, если когда-нибудь я заслужу лавровый венок за спасение родины, то какая радость, какая награда – положить его у ног твоих! Может быть, в эти долгие и уединенные часы холода и изнеможения, которыми наполняются скучные промежутки холодного размышления между моментами сильной деятельности, может быть, я бы не выдержал и поколебался, и отрекся бы даже от моих грез о Риме, если бы они не были связаны с моими грезами о тебе; если бы я не представлял себе того часа, когда судьба поставит меня выше моего рождения, когда твой отец не сочтет унижением отдать тебя мне, когда и ты займешь между римскими женщинами надлежащее место, как самая прекрасная и уважаемая из всех; когда эта пышность, которую я презираю в душе моей, сделается мне мила и приятна, потому что соединена с тобой! Да, эти мысли вдохновляли меня, когда серьезные думы отступали перед призраками, окружавшими их цель. О, моя Нина! Священна, сильна и терпелива должна быть любовь, живущая в том же чистом и возвышенном воздухе, который питает мои мечты о патриотизме, свободе и славе!

Этот язык, более чем обеты верности и милая лесть, выливающаяся от избытка сердца, заковывал гордую и тщеславную душу Нины в цепи, которые она так охотно носила. Быть может, в отсутствие Риенцо, поддаваясь более слабым свойствам своей натуры, она представляла себе торжество того времени, когда она унизит этих высокородных синьор и затмит варварское великолепие римских вождей. Но при нем, прислушиваясь к словам более возвышенного и благородного честолюбия, к которому не примешивалось еще никакое личное чувство, исключая надежды на обладание ею, эгоизм слишком легко прощаемый, ее высшие

симпатии соединялись с его планами; ее ум стремился стать в уровень с его умом, и она думала больше о его славе, чем о собственном возвышении. Гордости ее льстило быть единственной поверенной самых сокровенных его мыслей, самых отважных его предприятий, видеть пред собой открытым запутанный лабиринт его предприимчивой души, быть допущенной даже до знакомства с сомнениями и слабостями этой души так же, как с ее героизмом и силой.

Любовь Риенцо и Нины находилась в совершенном контрасте с любовью Адриана и Ирены. В последней все состояло из фантазий, грез и причуд юности; они никогда не говорили о будущем и не примешивали к любви своей никаких других стремлений. Честолюбие, слава, высокие земные цели исчезали для них, когда они бывали вместе; любовь их поглощала весь мир и не оставляла кроме себя ничего видимого под солнцем. Напротив того, любовь Нины и Риензи была страсть, свойственная натурам более сложным, возрасту более зрелому. Она состояла из тысячи чувств, по природе отдельных друг от друга, но сосредоточенных в одном фокусе могуществом любви. Они разговаривали о мирском, из мира извлекали пищу, которая поддерживала их привязанность; они говорили и думали о будущем; из грез его и воображаемой славы они сделали себе дом и алтарь. Любовь их была разумнее любви Адриана и Ирены: пригоднее для этой грубой земли; в ней заключалось больше осадка позднейших железных дней и меньше поэзии первобытного золотого века.

– И ты теперь должен идти? – сказала Нина, уже не отворачивая своих щек от его поцелуев и своей талии от его прощальных объятий. – Месяц еще высоко; ты был у меня так недолго.

– Недолго! Увы! – сказал Риенцо. – Близка полночь, друзья меня ждут.

– Если так, иди, лучшая половина моей души! Я не стану удерживать тебя ни на минуту от высоких целей, которые делают тебя так мне дорогим. Когда мы опять увидимся?

– Я увижу тебя не так, – сказал Риенцо с гордостью, и вся душа его отразилась на лице, – и не так, и не украдкой, не как неизвестный и презренный раб! Когда ты меня увидишь в следующий раз, я буду во главе сынов Рима, его защитником, восстановителем или... – прибавил он, понизив голос.

– Здесь нет никакого или! – прервала Нина, обнимая его и воспламеняясь его энтузиазмом. – Ты предсказал свою собственную судьбу!

– Еще один поцелуй! Через десять дней солнце будет сиять уже над восстановленным Римом!

XII

Странные приключения Вальтера де Монреалья

В тот же вечер, при свете еще не погаснувших звезд, Вальтер де Монреаль возвращался на свою квартиру в монастырь, соединенный тогда с церковью Санта-Мария дельприората и принадлежащий так же, как и церковь, рыцарям странноприимского ордена. Он приостановился среди развалин и опустошения, лежавшего вокруг его дороги. Хотя он мало был сведущ в классических описаниях местности, но не мог избежать впечатления, производимого этим, так сказать, огромным скелетом умершей гигантской империи.

Он смотрел вокруг на обнаженные колонны и обвалившиеся стены, которые были видны повсюду, озаренные светом звезд. За ними находилась мрачная и зубчатая крепость Франджипани, наполовину скрытая темной листвой деревьев, которые росли среди самих храмов и дворцов древности, показывая таким образом торжество природы над непрочным искусством.

«Книжников, – думал Монреаль, – эта сцена вдохновила бы фантастическими и мечтательными видениями прошедшего. Но для меня эти памятники высокого честолюбия и царского блеска создают только образы будущего. Рим со своей семихолмной диадемой еще может быть, как был прежде, добычей наиболее сильной руки и наиболее смелого воина. Он может быть возвращен к жизни, но не своими выродившимися сынами, а если влить в него крови новой расы. Вильяму незаконнорожденному едва ли было так легко завоевать англичан, как Вальтеру законнорожденному – этих римских евнухов. А какое завоевание славнее: варварский остров или метрополия мира? Не далеко от вождя до подесты – еще ближе от подесты до короля!»

Между тем как мысли его были заняты этими прихотливыми, не совсем химерическими, честолюбивыми планами, послышались быстрые легкие шаги по траве. Взглянув вверх, Монреаль увидел высокую фигуру женщины, сходявшей к подошве Авентина с того места этой горы, которая была покрыта многими монастырями. Она опиралась на длинную палку, и движения ее были так эластичны и прямые, что, взглянув при свете звезд на ее лицо, нельзя было не удивиться открытию, что оно принадлежало пожилой женщине. Это было суровое и гордое лицо, поблекшее и с глубокими морщинами, но не без некоторой правильности очертания.

– Святая Дева! – вскричал Монреаль, отступив назад при виде этого лица. – Возможно ли? Это она! Это...

Он прыгнул вперед и стал прямо перед старухой, которая, казалось, столько же была удивлена, хотя еще более устрашена, увидев Монреалья.

– Я искал тебя целые годы, – сказал кавалер, первый прерывая молчание; – годы, долгие годы, – твоя совесть может сказать тебе зачем.

– Моя? Кровожадный человек! – вскричала женщина, дрожа от ярости и страха. – Смеешь ли ты говорить о совести? Ты, обольститель, разбойник, отъявленный убийца! Ты, позор рыцарства и благородного происхождения! И ты носишь крест целомудрия и мира на своей груди! Ты говоришь о совести, лицемер! Ты?

– Синьора, синьора! – сказал Монреаль умоляющим голосом, почти робея перед этой бурной горячностью слабой женщины. – Я грешил против тебя и против твоих. Но вспомни все, что меня извиняет! Ранняя любовь – роковые препятствия – опрометчивый обет – непреодолимое искушение! Может быть, – прибавил он более гордым тоном, – может быть, я в состоянии загладить мою ошибку и вооруженной рукой вырвать от папы, который имеет власть вязать и разрешать...

– Проклятый и отверженный! – прервала женщина. – Неужели ты воображаешь, что насилием можно купить отпущение грехов или что ты в состоянии когда-нибудь загладить прошлое? Погубленное благородное ими, разбитое сердце отца и его предсмертное проклятие! Да, это проклятие я слышу и теперь! Оно пронзительно звучит в моих ушах, как в то время, когда я ходила за умирающим! Оно пристаёт к тебе, преследует тебя, оно пронзает тебя, несмотря на твои латы, оно поразит тебя в полном блеске твоего могущества! Ум потрачен, честолубие обесславлено, покаяние отложено, буйная жизнь и позорная смерть – вот гибель твоя, дитя преступления! К этому, к этому приговорило тебя проклятие старика! И ты осужден!

Эти слова старуха более прокричала, чем проговорила. Сверкающий взгляд, поднятая рука, выпрямившаяся фигура женщины, уединение развалин, лежавших кругом, все способствовало тому, чтобы придать страшному проклятию вид пророчества. Воин, о бесстрашную грудь которого переломилась сотня копий, почувствовал себя теперь испуганным и уничтоженным. Он схватился за край платья своей обвинительницы и вскричал задыхающимся и глухим голосом.

– Пощади меня! Пощади!

– Пощадить тебя! – сказала непреклонная старуха. – Разве ты щадил когда-нибудь мужчину в своей злобе или женщину в своем сладострастии? О, пресмыкайся в пыли! Ползай, ползай! Дикий зверь, лоснящаяся шкура и прекрасный цвет которого делают неосторожных слепыми к твоим когтям, которые рвут, и зубам, которые пожирают! Ползай для того, чтобы нога женщины старой, бессильной могла отталкивать тебя!

– Ведьма! – вскричал Монреаль в приливе внезапной ярости и взбешенной гордости, вскочив и выпрямляясь во весь рост. – Ведьма! Ты перешла за пределы того, что я тебе дозволил по моей снисходительности, вспомнив кто ты. Я почти забыл, что ты присвоила мою роль – я обвинитель! Женщина! Где мальчик? Не уклоняйся, не увертывайся! Не лги! Ты украла!

– Я. Ты научил меня воровать.

– Возврати, отдай его! – прервал Монреаль, топнув с такой силой, что мраморные обломки, на которых он стоял, задрожали под его ногой.

Женщина обратила мало внимания на бешенство, которое могло бы привести в трепет самого неустрашимого воина Италии; но отвечала не вдруг. Вместо страсти на лице ее появилось выражение важной, напряженной и меланхолической думы. Наконец она ответила Монреально, рука которого опустилась на рукоятку кинжала скорее по инстинкту долгой привычки, как это было с ним всегда, когда его раздражали или перечили ему, нежели из какого-то кровавого намерения. Как ни был он суров и мстителен, но не мог иметь подобного намерения против какой-либо женщины, а тем более против той, которая теперь находилась перед ним.

– Вальтер де Монреаль, – сказала она спокойным голосом, похожим на голос сострадания, – мальчик, я думаю, никогда не имел ни брата, ни сестры, он был единственным ребенком в обеих линиях семьи гордой и знатной, хотя теперь обесчещенной в обеих же линиях... К чему это нетерпение? Ты скоро узнаешь самое худшее: ребенок умер!

– Умер! – повторил Монреаль, отступая и бледнея. – Умер! Нет, нет, не говори этого! У него есть мать, ты знаешь, что есть! Нежная, любящая, заботливая, надеющаяся! Нет, нет! Он не умер!

– Так ты еще в состоянии что-нибудь чувствовать к матери? – сказала старуха, по-видимому тронутая тоном провансальца. – Но одумайся; не лучше ли, что могила избавила его от жизни, исполненной убийства, кровопролития и преступления? Лучше почтить с Господом, нежели бодрствовать с нечистой силой!

– Умер! – проговорил Монреаль. – Умер! Милый мальчик! Еще ребенок! Эти глаза – совершенно такие, как у матери – закрылись так рано!

– Хочешь ли ты сказать еще что-нибудь? Твой вид изгоняет из моей души все женское! Дай мне уйти.

– Умер! Могу ли я верить тебе? Или ты насмехаешься надо мной? Ты произнесла свое проклятие, послушай же и мое предостережение: если ты в этом солгала, то твой последний час ужаснет тебя и твоя смертная постель будет постелью отчаяния!

– Твои губы, – возразила старуха с презрительной улыбкой, – более пригодны для нечистых обетов, даваемых несчастным девушкам, нежели для обвинений, которые серьезны только в устах добрых людей. Прощай!

– Остановись, неумолимая женщина! Где он похоронен? За упокой его души будут служить обедни! Священники будут молиться! Грехи отца не должны обратиться на невинную голову ребенка!

– Во Флоренции, – отвечала старуха поспешно. – Но над его могилой нет ни одного камня! Умерший мальчик не имеет имени!

Не дожидаясь дальнейших вопросов, она прошла мимо и продолжала свой путь. Высокая трава и изгибы спуска скоро скрыли это зловещее привидение от глаз Монреаля.

Оставшись один, он с глубоким и тяжелым вздохом опустился на землю, закрыл лицо руками и предался горестным мукам. Его грудь вздымалась, все тело дрожало, и он громко рыдал со всей страшной энергией человека, которого страсти крепки и буйны, но для которого сила скорби нова и непривычна.

Уничтоженный и павший духом, он оставался в этом положении довольно долгое время, медленно и постепенно успокаиваясь, по мере того как слезы облегчали его волнение, и переходя от порывистой печали в мрачную задумчивость. Месяц стоял высоко, и уже было поздно, когда он встал. Теперь на его лице осталось мало следов прошлого волнения: Вальтер де Монреаль был не из тех людей, которые поддаются продолжительному горю или которым печаль может сообщить постоянную и обычную меланхолию, посещающую людей, у которых чувства прочнее, хотя волнения не так бурны. Характер его состоял из элементов чисто французских, хотя доведенных до крайности. Его наиболее серьезные качества были перемешаны с изменчивостью и капризом, его глубокая проницательность часто была сбиваема с толку причудами; огромное честолюбие исчезало перед каким-нибудь пустым искушением. Его упругая, сангвиническая и смелая натура была верна только желанию военной славы, поэзии отважной и бурной жизни и восприимчивости к той нежной страсти, без прикрас которой не полон ни один портрет рыцаря. В этом отношении Монреаль был способен к чувству, к нежности и верной преданности, что, по-видимому, было несовместимо с его беспечным легкомыслием и беспорядочной карьерой.

Он медленно встал.

– Не о себе, – сказал он, закутываясь в плащ и уходя, – я так горевал. Но мучение минуло, и самое худшее известно. Итак, обратимся теперь опять к тем вещам, которые никогда не умирают, – к беспокойным намерениям и отважным планам. Проклятие этой ведьмы еще леденит мою кровь, а это место таит в себе что-то роковое и ужасное. А! Что значит этот внезапный свет?

Свет, бросившийся в глаза Монреаля, походил на звезду; он был больше объемом, несколько покраснев и сильнее. Сам по себе он не представлял ничего необыкновенного и мог выходить из монастыря или из хижины. Но он сиял в той части Авентина, на которой не было, обитаемых жилищ, а только одни пустые развалины и обрушившиеся портики; сами имена их прежних обитателей погибли. Зная это, Монреаль почувствовал некоторый таинственный страх при виде этого неподвижного луча, озаряющего мрачный ландшафт. Он был не лишен суеверия рыцарей того времени, притом теперь как раз был час духов

и привидений. Но страх перед здешним или нездешним миром не мог долго оставаться в душе этого смелого разбойника, и после непродолжительного колебания он решился уклониться от своего пути и узнать причину явления. Бессознательно воинственная нога варвара шла по месту прославленного или, если угодно, бесславного храма Изиды, бывшего некогда свидетелем тех неистовых оргий, о которых упоминает Ювенал. Он дошел, наконец, до густого и темного кустарника, сквозь отверстие которого сиял таинственный свет. Пробравшись через темную листву, рыцарь достиг большой развалины, мрачной и без крыши, откуда неясно и глухо доносился звук голосов. Сквозь расселину стены, образующую род окна около десяти футов от земли, свет падал на землю, заключенный, так сказать, в рамку из массивной тени, и пробиваясь сквозь обвалившийся портик, находившийся как раз возле. Провансалец стоял на том самом месте, где был храм, портик и библиотека свободы (первая публичная библиотека в Риме). Стена развалины была покрыта бесчисленным множеством ползущих растений и диким папоротником, и со стороны Монреалья мало требовалось ловкости, чтобы с помощью их подняться до высоты отверстия и под прикрытием роскошной листвы смотреть внутрь. Он увидел стол, освещенный восковыми свечами; посередине стола находились распятие, обнаженный кинжал, развернутый свиток, имевший священный характер, как показывала вся обстановка, наконец, медная чаша. Около сотни людей в плащах и черных масках стояли неподвижно вокруг. Один из них был выше, прочих ростом и без маски; его бледный лоб и суровые черты при этом свете казались еще бледнее и суровее; он, казалось, оканчивал речь к своим товарищам.

– Да, – сказал он, – в латеранской церкви я сделаю последнее воззвание к народу. При помощи наместника папы, которому я сам служу в качестве должностного лица первосвященника, религия и свобода – герои и мученики соединятся в одном деле. После того – слова бесполезны; должны начаться действия. Перед этим распятием я даю клятву в верности, над этим клинком обрекаю жизнь мою возрождению Рима! А вы (ни в плащах, ни в мантиях тогда не будет надобности), вы клянитесь, когда послышится одинокая труба и появится одинокий всадник, собраться вокруг знамени республики и противодействовать оружию угнетателей сердцем и рукой, жизнью и душой, презирая смерть и надеясь на спасение!

– Клянемся, клянемся! – вскричали все и, столпившись около креста и кинжала, заслонили собой свечи. Монреаль не мог ни рассмотреть церемонии, ни слышать тихо произносимой формулы присяги, но угадывал, что обыкновенный при тогдашних заговорах обряд, требовавший, чтобы каждый из заговорщиков пролил несколько капель своей крови, в знак предания своей жизни предприятию, не был упущен. Когда группа отступила назад, тот же самый человек обратился к собранию, подняв вверх чашу обеими руками, между тем как с левой его руки медленно струилась кровь и падала каплями на пол. Подняв глаза, он произнес торжественным голосом:

– Свобода! Среди развалин твоего храма мы, римляне, посвящаем тебе это возлияние! Не баснословные идола помогают нам; нас вдохновляет Господь Сил и Тот, кто, сойдя на землю, взывал к рыбаку и земледельцу, поручая бедным и смиренным проповедь откровения. – Потом, вдруг обратясь к своим товарищам, он громко вскричал, между тем как его черты, необыкновенно изменчивые в характере и выражении, просияли торжественным благоговением. – Смерть тирании! Жизнь республике! – Действие этого перехода было поразительно. Каждый как бы по невольному и непреодолимому побуждению, положил руку на свой меч, повторяя эти слова; некоторые обнажили свои клинки, как будто сейчас уже готовы были идти на битву.

– Я видел довольно: они сейчас разойдутся, – сказал сам себе Монреаль, – притом я скорее готов встретиться с тысячным войском, нежели с полудюжиной таких горячих энтузиастов. – С этой мыслью он спустился наземь и пошел прочь, и в безмолвии полночи еще раз до слуха его дошел глухой звук: «Смерть тирании! Жизнь республике!»

Книга II Революция

I

Провансальский рыцарь и его предложение

Было около полудня, когда Адриан вошел в ворота палаццо Стефана Колонны. Дворцы нобилей тогда не были тем, что они теперь – вместилищами бессмертных картин итальянского и негибнущей скульптуры греческого искусства. Но до настоящего дня сохранились массивные стены и окна с решетками и обширные дворы, где в те времена помещались грубые наемники. Гораздо выше ворот подымалась огромная твердая башня, господствовавшая над обширным видом изувеченных остатков Рима. Сами ворота были украшены и поддерживались с обеих сторон гранитными колоннами, дорические капители которых обличали святотатство, отторгнувшее их от одного из многих храмов прежнего священного форума. Из этого же источника были заимствованы огромные обломки травертипа, из которых были сложены стены внешнего двора. Это варварское присвоение драгоценнейших памятников искусства было в то время так обыкновенно, что на колонны и купола древнего Рима все смотрели не более как на каменоломни, из которых каждый был волен добывать материалы для своего замка или для своей хижины. Такое оскорбление было хуже опустошений Готов, на которых позднейшие века охотно сваливали все дурное; оно едва ли не сильнее других, более тяжких, злоупотреблений возбуждало классическое негодование Петрарки и заставляло его сочувствовать Риенцо в его надеждах на восстановление Рима. Еще и теперь можно видеть церкви того или даже более раннего времени, церкви самой безобразной архитектуры, построенные на тех местах и из того мрамора, которые освятили собой имена Венеры, Юпитера и Минервы. Дворец князя Орсини, дука Гравинского, до сих пор возвышается над грациозными (еще видными) арками театра Марцелла, бывшего тогда крепостью Савелли.

Когда Адриан проходил двор, на его пути стояла тяжелая повозка, нагруженная большими плитами мрамора, взятыми из неисчерпанного еще источника золотого дома Нерона. Этот мрамор предназначался для постройки новой башни, которой Стефан Колонна хотел еще более укрепить безвкусное и безобразное здание, где этот старый вельможа поддерживал свои права на оскорбление законов.

Друг Петрарки и питомец Риенцо глубоко вздохнул, когда проходил мимо этой повозки недавнего грабительства и когда столб из граненого алебастра соскользнул с нее и упал с громким стуком на мостовую. Внизу лестницы столпилось около дюжины бандитов старого Колонны; они играли в кости на древней гробнице; ясная и резкая надпись на которой, так непохожая на аляповатые буквы последних времен империи, указывала на памятник самых цветущих лет Рима. Опрокинутая вверх, она служила столом для этих диких чужеземцев и была покрыта кусками мяса и посудой с вином. Бандиты едва пошевелились, едва подняли глаза, когда молодой патриций проходил мимо. Их грубые проклятия и громкие восклицания, произносимые на северном *patois*, неприятно звучали в его ушах, когда он медленными шагами подымался по высокой и неопрятной лестнице. Адриан вошел в обширную переднюю комнату, которая наполовину была заполнена наемниками высшего разряда. Пять или шесть пажей, собравшихся около узкого и углубленного окна, спорили о важных материях волокитства и интриги; трое мелких начальников низшей толпы, в латах, положив возле себя мечи и каски, сидели чванно и безмолвно за столом среди комнаты. Их можно

было бы принять за автоматов, если бы они по временам не подымали к своим усатым губам кубков, предаваясь затем с самодовольным ворчанием вновь своим размышлениям. Поразителен был контраст их северной флегмы с живостью толпы итальянских подданных, которые беспокойно ходили взад и вперед, громко разговаривая между собой, со всеми возможными жестами и с изменчивостью физиономии, свойственным южным жителям. Появление Адриана среди этой смешанной толпы произвело всеобщее волнение. Бандитские капитаны машинально кивнули головами, пажы поклонились, любуясь его пером и обувью; клиенты и просители столпились вокруг него каждый с особой просьбой о ходатайстве перед его могущественным родственником. Адриану потребовалось немало обычной светскости и ловкости, чтобы отделаться от них. С трудом наконец он добрался до низкой и узкой двери, где стоял высокий слуга, который допускал или не допускал посетителей, смотря по своим выгодам или капризам.

– Барон принимает? – спросил Адриан.

– Нет, монсиньор: у него один иностранный господин; но вы, конечно, можете войти.

– Да, ты можешь впустить меня. Я хочу узнать о его здоровье.

Слуга отворил дверь, на нее устремилось множество завистливых и пристальных взглядов, и вверил Адриана пажу, который был особо приближенным слугой владетеля замка. Пройдя другую, уже пустую комнату, обширную и мрачную, Адриан очутился в небольшом кабинете, в обществе своего родственника.

У стола, заваленного письменными принадлежностями, сидел старый Колонна. Мантия из бархата, подбитая богатым мехом, свободно лежала на его высоком и красивом стане; из-под круглой теплой шапочки малинового цвета выбивались седые кудри, смешиваясь с длинной, почтенной бородой. Лицо старого нобилия, которому давно уже минуло восемьдесят лет, еще сохраняло следы красоты, которая была замечательна во время его цветущего возраста. Глубоко впавшие глаза его были, однако же, зорки и живы, и сверкали еще всем огнем юности; его, рот смеялся приятной, хотя полусатирической улыбкой; и в целом его наружность была привлекательной и властной, обнаруживая скорее высокое происхождение, хитрый ум и благородную храбрость патриция, чем его коварство, лицемерие и обычный, презрительный дух угнетения.

Стефан Колонна, не будучи безусловно героем, был однако же гораздо храбрее большей части римлян, хотя крепко держался итальянского правила никогда не сражаться с врагом, если есть возможность его обмануть. Но два недостатка вредили силе его прозорливости: чрезвычайная дерзость характера и глубокая вера в свою собственную опытность. Он был неспособен к аналогии и совершенно убежден, что никогда не может случиться того, чего не случалось в его время. Таким образом, несмотря на свою всеобщую репутацию искусного дипломата, он обладал только хитростью интригана, а не проницательностью государственного человека. Но если гордость делала его надменным в счастье, то она поддерживала его и в бедствии. И в превратностях раннего периода своей жизни, проведенного отчасти в изгнании, он обнаружил много благородной твердости, терпения и настоящего величия души, которые показывали, что его недостатки были скорее приобретены вследствие обстоятельств, нежели происходили от природы. Его многочисленное и высокородное племя гордилось своим главой; и справедливо, потому что он был способнейший и наиболее уважаемый человек не только в прямой линии Колоннов, но, может быть, даже из всех наиболее могущественных вельмож.

У того же стола, где и Стефан-Колонна, сидел человек благородного вида, лет тридцати трех или тридцати четырех, в котором Адриан тотчас же узнал Вальтера де Монреаля. Наружность этого знаменитого рыцаря мало соответствовала тому ужасу, который вообще возбуждало его имя. Его лицо было красиво и нежно до женственности. Его длинные белокурые волосы свободно вились над белым и не покрытым морщинами лбом; походная жизнь

и итальянское солнце только слегка затемнили его светлый и здоровый цвет лица, которое сохранило еще много юношеской свежести. Его черты были правильны, светло-карие глаза – велики, ясны и проницательны. Короткая, но курчавая борода и усы, несколько потемнее волос, подстриженные с солдатской точностью, придавали воинственное выражение его приятной физиономии, но это выражение было такого рода, что скорее шло герою дворов и турниров, чем начальнику разбойничьего лагеря. Вид, манера и осанка провансальца более очаровывали, чем устрашали, объединяя в себе какую-то военную откровенность со свободным и грациозным достоинством человека, сознающего благородство своего происхождения и привыкшего обращаться с вельможами и патрициями, как с равными себе. Его фигура составляла счастливый контраст с характером лица, «необыкновенно красивые черты которого нуждались в силе и высоком росте тела для того, чтобы в них не было заметно женственной нежности: стан его был высок и обладал замечательной силой мускулов, несколько не имея в себе неуклюжей и негибкой массивности; он был тонок и вместе крепок. Но главным отличием этого воина, самого неустрашимого бойца Италии, было присутствие какой-то рыцарской и геройской грации, которым много красоты придавал великолепный наряд из коричневого бархата, усыпанный жемчугом, на который наброшен был плащ страннопримных рыцарей, с белым восьмиконечным крестом, знаком этого ордена. В данный момент он слегка наклонился к старому Колонне, опершись обеими руками на золотую рукоятку огромного меча, на ножнах которого были тщательно изображены серебряные лилии, девиз иерусалимского братства в Провансе. Руки эти были малы и деликатны (обыкновенное отличие старой германской расы¹², от которой Монреаль вел свое происхождение, несмотря на то, что родился в Провансе) и украшены дорогими камнями, по моде того времени.

– Доброе утро, дорогой родственник, – сказал Стефан, – прошу тебя, садись. Этот благородный посетитель – знаменитый Вальтер де Монреаль.

– А, синьор! – сказал Монреаль, улыбаясь и кланяясь Адриану. – Как поживает синьора?

– Вы ошибаетесь, кавалер, – проговорил Стефан, – мой молодой родственник еще не женат. Клянусь честью, это удовольствие тем ценнее, чем оно дольше откладывается, как заметил папа Бонифаций, лежа больной в постели, своему духовнику, который толковал ему о лоне Авраамовом.

– Синьор меня извинит, – возразил Монреаль.

– Только не извиню, – отвечал Адриан, – пренебрежения синьора Вальтера, не хотевшего удостовериться в этом факте лично. Я обязан ему, благородный родственник, большей благодарностью, нежели вы подозреваете; и он обещал посетить меня, чтобы принять ее.

– Уверяю вас, синьор, – отвечал Монреаль, – я не забыл приглашения; но до сих пор я имел так много важных занятий в Риме, что должен был отложить, несмотря на мое нетерпение.

– Так вы уже знакомы друг с другом? – спросил Стефан. – Каким образом?

– Здесь замешана девушка, – отвечал Монреаль, – извините, синьор, если я промолчу.

– Ах, Адриан, Адриан, когда ты остепенишься, – сказал Стефан, важно поглаживая свою седую бороду. – Но оставим этот пустой разговор, обратимся к нашему предмету. Ты должен знать, Адриан, что моему достойному гостю я обязан теми храбрыми молодцами, которые сохраняют в Риме такое спокойствие, хотя производят такой шум в моем бедном жилище. Он пришел предложить еще большую помощь, если нужно, и посоветоваться

¹² Небольшие руки и ноги, хотя бы они были непропорциональны с другими частями тела, считались в то время так же, как и в более образованный век, отличием людей благородного происхождения. Многим из читателей известно, как страдал Петрарка от тесных башмаков. Этой особенностью до сих пор отличается настоящая норманнская порода, и понятие о красоте маленьких рук и ног ведет свое начало скорее от феодальных, чем от классических времен.

со мной о делах северной Италии. Продолжай, прошу тебя, кавалер, у меня нет секретов от моего родственника.

– Ты, без сомнения, видишь, – сказал Монреаль, устремив проницательный взгляд на Адриана, – что Италия в эту минуту представляет нам любопытное зрелище. В ней происходит борьба между двумя противными силами, которые должны погубить одна другую. Одна сила есть сила строптивого и мятежного народа, которую этот народ называет свободой; другая сила есть сила вождей и князей, которую они более справедливо называют порядком. Города Италии разделены между этими двумя партиями. Во Флоренции, Генуе и Пизе, например, учреждено свободное государство – республика. Более беспокойного и несчастного состояния правительства невозможно себе вообразить.

– Это совершенная правда, – заметил Стефан, – они выгнали моего двоюродного брата из Генуи.

– Короче говоря, постоянная борьба, – продолжал Монреаль, – борьба между знатными фамилиями, попеременные преследования, конфискации и изгнания: сегодня гвельфы выгоняют гибеллинов, завтра – гибеллины гвельфов. Может быть, это – свобода, но свобода сильных против слабых. В других городах, как например, в Милане, Вероне, Болонье, народ находится под управлением одного человека. Он называет себя князем, а его враги зовут его тираном. Будучи сильнее каждого из граждан, он правит твердо, имея преимущества перед гражданами: постоянную потребность в уме и энергии. Он правит благоразумно. Эти два рода правления спорят друг с другом; если народ одного бунтует против своего властителя, то народ другого, то есть республики, посылает оружие и деньги ему в помощь.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.